ИГОРЬ БОГОЛЕПОВ



В ОТМЩЕНИЕ ЗА МАДРИТ

I

В ЗАПАДНОМ САМИЗДАТЕ

1977 г.

АВТОР об АВТОРЕ, о КНИГЕ и о ЖЕРТВЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ, МАДРИТ.

Родился в начале столетия в Сибири, в благополучии профессорской семьи, в мире еще керосиновых ламп, конок, церковного благовеста, полном тишины и порядка, с добротой, как идеалом – если и оставался тот для столь многих вокруг лишь идеалом. Вторая, совсем иная жизнь пошла с захватом власти теми, кто повернул к идеалам зла насилием, прикрытым фальшивыми посулами и ложью, потащил по стезе лишений, скорби и опасностей не для одной только России, а и для всего человечества. Делая по нужде тó, чего не хотел, не делая, из страха что хотелось, постарался уклониться от соучаствия в изнасиловании народа марксистко-ленинским мракобесием самоизоляцией в изучении мировой экономики и политики. Командировки на Запад подтвердили, что главной опорой анти-народного, анти-русского ленинско-сталинского режима являются западные левые «либералы» – как и предвидел Достоевский, началась революция в России, корни же ее – на Западе. Борьбе с руссофобским и, стало быть, про-коммунистическим западным псевдо-либерализмом и посвятил свою третью жизнь – в изгнании, после тото как из за войны попал из сталинской тираннии под гитлеровскую, а затем под тираниию «либералов» в Америке и в Зап. Европе. Вместо того, чтобы терять время и силы на мышиную грызню в эмигрантском гетто, тридцать с лишком лет вел борьбу прямо против западной руссофобии и ее альтер эго – про-коммунистического капитулянства, вел изнутри самого логова врага.Пошел для этого на пачканье рук во внутри – американской свалке за власть, в такие злачные места, как Сиайэ, ломился с опровержениями и обвинениями в «Нью Иорк Таймс» и подобные органы монопольной дезинформации, считающие себя свободными потому что свободны затыкать рот инакомыслящим. Короче, словами старого поэта,

«Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой слабый меч,
Но спор с обоими – досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не смог меня привлечь.»

Человек больше сердца, чем разума, позабыл, что оборотной стороной смелости служит осторожность, своей дон-кихотской борьбой в одиночку навлек на себя громы м молнии «либерального» сталинизма Запада. Оперирует тот менее топорно и открыто, но не менее эффективно. Диссиденту среди обычной для бесправных беженцев испуганной молчаливости, с поднятым забралом выступавшему против западной руссофобии с ее двойным жалом – либо атомной войны, либо содействия коммунистической мировой революции, ныне именуемого разрядкой, мстили «либералы» закрытием всех дверей к литературной и академической жизни, к просто нормальной, человеческой жизни. Газеты кидали в корзинку письма-протесты. Издательства не желали и ознакомиться с рукописями, критиковавшими западную политику самоубийства, означавшую укрепление и содействие полному торжеству коммунистического зла и в России. Университеты соглашались брать, в лучшем случае, преподавателем русского языка на окладе портье. Органы правосудия поплотнее прикрывали и второй глаз Фемиде, превращенной в их служанку.

ИГОРЬ
БОГОЛЕПОВ

В ОТМЩЕНИЕ ЗА МАДРИТ

Мемуары жертв холодной войны

I

В западном Самиздате
1977 г.

1. В ОТМЩЕНИЕ за МАДРИТ и В ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

О холодной войне написано уже столько мемуаров, что утруждать чтением еще одного варианта не стоило бы труда — будь тот опять попыткой самообеления со стороны кого либо из западных недоумков или восточных фанатиков, организовавших и раздувших эту холодную войну — термин, кстати, лицемерный, т.к. и в этой войне страдают и гибнут миллионы людей.

Но автором предлагаемых мемуаров является не тот, кто оправдывается, а кто обвиняет, не виновник, а одна из жертв холодной войны, успевшая выкрикнуть свое возмущение и свое предупреждение.

Эти мемуары можно назвать контр-мемуарами с бóльшим правом нежели в случае одного французского автора с острым языком, но путаными мыслями. В них разоблачается тó, чем засорили западные мозги Черчилль с Идэном, Ачесон с Кеннаном и прочие светила западной политики и дипломатии, затмившие и без того темные горизонты (что у них имеются успешные конкуренты и на Востоке, разумеется само собою, но мемуары русского пленника западных свобод концентрируются, естественно, на обскурантистах Запада). Разоблачается, прежде всего, традиционное хуление России и русских, под какими бы режимами те ни были, вражда к ним, даже стремление уничтожить. Апогея достигло это при гитлеровском походе на «восточных унтерменшен». Вновь вспыхнуло под названием холодной войны, как только у англо-саксонских преемников побитых претендентов на мировое владычество, отпала надобность в русском пушечном мясе. После тревожных пятидесятых и шестидесятых годов, то и дело грозивших атомным испепелением, опасный кон-

фликт принял в наши дни особенно опасную форму так наз, détente, или разрядки напряженности, если употребить советский эквивалент термина взаимного очковтирательства; особенно опасную, ибо под прикрытием миролюбивых заверений, как всегда бывало, дело идет к конечной катастрофе из за того, что холодная война, до тех пор носившая гл. обр. односторонне-западный характер, ныне обострилась коммунистической агрессивностью.

Соответственно, о холодной войне повествуется здесь под иным углом зрения, чем у виновников ее, перебрасывающихся трафаретами русской угрозы и западного империализма. Жертвам виднее, чтó несет погибель, и мое повествование об этапах холодной войны ведется с точки зрения тех неизвестных и никем не оплакиваемых, кого уже втянули в катастрофу — беженцев, эмигрантов, изгнанников, даже избравших свободу, как их принято звать, точнее же, тех кого считают, по элегантному англосаксонскому выражению, non persons.

В мемуарах моих я и буду говорить о трагедии прежде всего русских изгнанников на Западе, — в том числе о моей личной, повторяющих дантевское еще

«...о как горек хлеб чужбины,
И как тяжко то взбираться по чужим лестницам,
То вновь спускаться вниз!»

Заговорив о беженцах, знаю, что рискую остаться без читателей. Сотоварищи по эмигрантскому несчастью знают всё и без меня. До соотечественников на потерянной родине мои предупреждения вряд ли дойдут и по чисто технической причине. Западный же читатель темой беженцев не интересуется. Надорвавшийся в непосильном цеплянии за черезчур высокий, не по карману, жизненный стандарт, обнаружив, что и два автомобиля в гараже дают ноль личного счастья, испуганный эфемерностью восхваленного было избыточного общества и его экологическими бедами, беженской драмой западный человек интересуется также мало, как и причинами отсутствия мира и растущих опасностей новой войны, в особенности в форме войны гражданской, и через тридцать лет после разгрома фашизма, сменившегося коммунизмом.

Отмахиваться же от беженской трагедии также близоруко, как и в случае немецкого населения, отмахивавшегося от соседних с ним гитлеровских лагерей, предвестников собственного падения. Явится ли будущим человечества атомный или коммунистический Армагеддон, живем мы в эпоху нового переселения народов. Две больших волны русских беженцев, изгнанников и перебежчиков — после каждой из мировых войн, непрерывно пополняются новыми жертвами, вырванными с корнем из родной почвы и увядающими на злой чужбине: сперва из восточной и центральной Европы, затем при ликвидации западных колоний и с Кубы, недавно опять из Азии и Африки. Общее число их считают достигающим 15-ти миллионов. В одной Европе стран, из которых происходит пополнение рядов отверженных и своими и чужими, превышает уже число стран, дожидающихся череда (13 и 11).

Где-то, на каком то старинном кладбище прочел я на полуистлевшей плите: «Не гордись — завтра ты будешь тем, кем я есмь сегодня!» Беженство, вынужденная эмиграция, грозят теперь на Западе всем и каждому — то ли в индивидуальном, то ли в массовом порядке; Америка и та уже обзавелась собственными беженцами — дезертирами от войны во Вьетнаме.

В той же Америке популярны руководства «Тренируйте вашу жену на роль вдовы уже сейчас». То, что я разскажу и о моей личной трагедии может послужить полезным инструктажем для людей Запада, никак не предполагающих, вместе с их правителями, что они так близки к еще худшему: русским было куда бежать, а куда бежать с Запада?

Говоря о личной трагедии и трагедиях, я помню, конечно, шатобриановский еще совет не открывать кровоточащего сердца: это вызовет лишь смешок над слабостью и неудачливостью, сочувствием не откликнется, доверия к искренности и правоте не обеспечит. Но личная трагедия, как и в упомянутом случае немецкой близорукости, таит в себе нечто большее, намного большее и общее. Русской трагедией на Западе оказалось то, что русские изгнанники думали, что Запад стоит за свободу везде и повсюду, в том числе и в России, главным даже обра-

зом в России. Вместо этого столкнулись они с традиционной руссофобией, приводящей к шатаниям от агрессивности к капитулянству. Но это-то как раз есть и западная трагедия, прежде всего западная трагедия.

Человек, которому злая судьба не дала свершить то, что считал он своим долгом, обязан, по крайней мере, оповестить о своих неудачах и их причинах других — чтобы эти другие избежали собственных неудач устранением тех же причин. Завет из далекого средневековья, данный тем, чьи поучения о зле, именуем политиками и политикой, верны и по сегодня, счел я относящимся и ко мне. Пусть же соотечественники в далекой России — если дойдет до них чудом мой вклад в понимание западной трагедии самоуничтожения, сделают нужные выводы насчет того, что́ нужно изменить у нас на родине чтобы не провоцировать еще большего западного недоверия, опаски и враждебности. И пусть люди Запада найдут в моей критике предупреждение, что и им надобно радикально изменить их руссофобскую традицию, приведшую в результате проигранной холодной войны — проигранной как раз из за этой традиции, к тому, что, по немецкой поговорке, оказались они теми самыми глупыми телятами, которые сами выбирают своего мясника, да еще вложив в его руки отточенный с их же помощью нож.

Но есть у меня и личный долг, повелевший выступить с моими мемуарами — предупреждением: долг любви, преклонения — и жалости, долг, отягченный сознанием и собственной вины.

Из за верности идеалам и жизненным интересам моего народа и страны, удары на Западе и плевки с Востока должна была претерпевать и верная спутница во вдвойне тяжкой участи непокорного изгнанника. И нередко, желая задеть побольнее, били при этом как раз по ней, по моей Мадрит, по последней в моей жизни из самых любимых и близких, кто одна только вносила собою в эмигрантское ничто свет, радость и счастье. Ее долгие страдания и мученический конец побудили преодолеть мою русскую натуру, по верному замечанию Достоевского, чуждую долго вынашиваемой, злобно-рассудочной мести. Теперь готов я повторить то, что раньше возмущало:

«Wir haben lang genug geliebt,
Wir wollen endlich hassen!» [1]

Те, кто мучал и замучал Мадрит не должны остаться непоименованными.

А память о Мадрит я хочу сохранить моим повествованием и о том, как колеса нелепо-преступной истории, т.е. эгоистическо-равнодушных, фанатичных или глупых и злых людей, раздавили самый яркий, самый чудесный и благоухающий цветок, мною когда либо виденный.

И в менее мучительных ситуациях естественно избрание своего пути прекращения ненужного более, терзающего состраданием и тоской одинокого существования ни для кого и ни для чего. «Почему не потушить свечу, если смотреть больше не на что и гадостно?» — вопрошал Толстой. Но погасить без того, чтобы сперва не сплести венок отмщения за поистине невинную жертву холодной войны между Западом и Востоком, было бы святотатственным пренебрежением последним, что я еще могу сделать для Мадрит, — великой любви в долгих страданиях.

«Нет повести печальнее на свете
Чем повесть о Ромео и Джульетте».

утверждал поэт.

«Есть!» — отвечаю я. Вот она — о русском Ромео, эстонской Джульетте, жертвах сталинских Монтекки на родине, руссофобских Капулетти на Западе:

Вашингтон, 1960 г. Стокгольм, 1977 г.

---

[1] «Мы достаточно долго любили,
Мы хотим, наконец, ненавидеть!»

2. ГОРЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЯЖКАЯ ОШИБКА И ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖКАЯ РАСПЛАТА

Платоновский тезис о незнании, как корне несчастий, подтверждения в моей собственной житейской практике не нашел. Наоборот, с ранних лет, тому уже недобрых полвека с гаком, вынужден я регистрировать факты, выводом из которых может быть тезис скорее обратного порядка: корнем несчастий в наши времена бурного прогресса технической цивилизации и пропорционального тому бурного же регресса культуры и человечности ее сопровождающего, оказывается как раз наличие образовательного диплома. То, что горделиво величается технической революцией, на деле оказывается анти-культурной и анти-гуманной контрреволюцией. Как то и предвидели многие кассандры разных времен и наций, человек жив, действительно, не одним только хлебом; истину эту следовало бы выразить точнее — хлебом единым человек мертв. Прогресс современного научного ремесленничества [1], к которому все больше и больше регрессируют нау-

[1] Под научным ремесленничеством я разумею уклон в сторону узкой специализации, когда жрецы науки и не задумываются над последствиями того, что мастерят в своих лабораториях и почему их меценатами оказываются военные ведомства и пропагандно-шпионские службы. Мой взгляд упал при этом на один из архивных моих экспонатов, на фотографию в американском журнале «Тайм»: чистенький, благообразный старичок с детской улыбочкой, почти симпатичный — и вдруг изобретатель варварского «напальма», да еще заявляющий, что «сделал бы вновь то же самое, если того требуют интересы обороны моей страны» (своей новой страны — должен бы сказать этот беглец от гитлеровского анти-семитизма). «Не знает угрызений совести» — пояснял «Тайм» под портретом профессора Гарвардского университета, Физера. (Номер от 8-го января 1968 г.). Нынешнюю советскую интеллигенцию Солженицын окрестил придуманным им словом «образованщина»: под этим так же понимается отсутствие общей культурности при овладении высотами ремесленной науки и отказ занять моральную позицию.

ки и их жрецы, сводит на нет духовный подъем, с трудом достигавшийся на протяжении последних веков, возвращает на неандертальский уровень, когда жили лишь для удовлетворения примитивных биологических потребностей.

Об опасностях образования услыхал я еще мальчуганом — от отца, рассказавшего почему он почти-что слеп на правый глаз: конный жандарм хлестнул нагайкой при разгоне студенческой демонстрации протеста против тогдашней вьетнамской войны — подавления так называемого боксерского народного восстания в Китае, в чем поспешили принять участие и царские власти, боявшиеся что Китай захватят западные конкуренты [2]. Отводить злость из-за собственных неудач на «долгогривых» и «очкастых» было всегда в моде в старой, развивавшейся по капиталистическому пути России; звали так тех, кого в современной Америке стали поносить, как «битников» и «писников» [3]. Когда же русские предшественники нынешних претендентов на монополизацию американской совести — президент Никсон сравнивал их с русской революционной интеллигенцией прошлого столетия, с народниками [4], — помогли раскрыть ящик Пандоры Революции, у нас прогремели одна за другой три революции (одной больше, чем нужно было «очкастым» и «долгогривым»). Революцию они себе представляли в виде сплошного парадного банкета, на котором они, в туго накрахмаленных воротничках и с красной гвоздикой в петлице, будут умилительно и многоречиво ораторствовать о свободе, демократии и прогрессе. Поседевшие тем временем, аккуратно подстриженные, в золотых очках — символе порядка и достатка, — они оказались опять на положении козлов отпущения. Были они теперь уже недостаточно революционными. Большевистские руководители не считали, в теории, что Лавуазье революции не нужны. Они сами ведь

[2] О том, что после подавления восстания царская Россия поставила вопрос о выводе из Китая всех иностранных войск, западные историки молчат, американские же изображают дело так, что инициатором целостности Китая выступили США.

[3] «Писник» от слова peace — мир. «Долгогривыми» впрочем зовут их и в Америке (напр. Эйзенгауэр в одной из речей).

[4] В интервью в апреле 1970 г.

принадлежали в основном к «долгогривым» и «очкастым»; про ленинское правительство говорили, что это первое в истории правительство, ближе всего соответствовавшее другому платоновскому постулату — насчет необходимости иметь правителями философов (с упущением, к несчастью, уточнения каких философов, и что как раз философы должны по-философски относиться к философам, с ними несогласными [5]). Новому строю, затеявшему перестройку всей жизни на совершенно новых началах, основанных на догмах марксизма, ученые требовались еще острее, чем хлеб, картошка и дрова голодавшей и мерзнувшей стране; восторжествовал этот строй, кстати, лишь благодаря привлечению людей науки и техники и приумножения числа их при советской власти, когда высокие темпы прироста этих людей оказались, в конечном счете, важнее низких темпов прироста предметов первой необходимости и жизненного комфорта.

Но на первых порах, в горячности и ожесточении гигантской схватки за выживание нового строя, при разгуле страстей в кровавой гражданской войне, русские лавуазье нередко попадали под нож большевистской гильотины — «ставились к стенке». Это останется одним из многих темных пятен на Октябрьской революции, вершившейся мол ради искоренения насилия и зла старого строя — если и творились расправы главным образом троцкистами, чуждыми и даже враждебными России и русским [6].

[5] На память приходит инцидент с Фарадеем. Еще молодой и неизвестный, он попросил о принятии в члены Королевского общества ученых, аргументируя тем, что наука облагораживает и улучшает человека. Общество немало посмеялось, и приняло Фарадея, дабы он воочию убедился в своем наивном оптимизме.

[6] Сталин подчеркивал, что Троцкий «увлекался» террором; впрочем делал он это для того чтобы обелить Ленина, про которого Троцкий утверждал, что тот «вколачивал при каждом подходящем случае мысль о неизбежности террора» (в книге «О Ленине»). См. выступление Сталина о «троцкизме или ленинизме» в 1924 г. Если правы сионистские круги, кричащие об антисемитизме в СССР, — а по их мнению анти-семитизмом является и недопущение евреев на службу в КГБ, то начинают они с конца, не с начала. В начале же было то, о чем на Западе вслух говорить не принято из страха быть обвиненными в том же антисемитизме. Но и нью-йоркский Союз русских евреев-очевидцев

На Западе любят пускать слезу насчет «невинных жертв» красного террора. Оставляя в стороне лицемерность оплакиваний, — нам еще предстоит возвращаться к этому в конце мемуаров, должен сказать, что мои личные воспоминания квалификацию невинности подтверждают лишь частично. Русских лавуазье действительно часто ставили к стенке независимо от того, противились ли они захватчикам власти, или просто тряслись за занавесками уютных и тихих жилищ, в которые врывался революционный шквал. Пастернаку мастерски удался портрет Живаго — портрет путавшегося под ногами и у красных и у белых члена партии «испуганных интеллигентов», как подтрунивали над самими собою люди, описанные, как Манилов у Гоголя и Обломов у Гончарова: милые, добрые любители помечтать о прекрасном и возвышенном лежа на диване, к жизненной реальности, тем паче к жизненной борьбе, были они явно непригодными. К стенке ставили их из-за того, что, как и Лавуазье, выглядели они иначе, чем старые и новые санкюлоты; помнится, отцу пришлось снять золотые очки и перестать носить шляпу, чтобы не привлечь опасного внимания к «недорезанному буржую» — как звучал руссифицированный рабочими-красногвардейцами и лихими матросам термин «классовый враг». В горячие те дни у нас применялись репрессии автоматического характера, не по индивидуальному, а по коллективному признаку классовой принадлежности; по тому же образцу на Западе также карали после второй мировой войны всех, причастных к гитлеризму, повинны те были лично, или нет. Список, подлежавших у нас автоматическим репрессиям, был велик — от бывших аристократов до зажиточных крестьян, духовенства

событий первого этапа революции в России, признавал факт «активного участия» евреев-революционеров в уничтожении того, что зовется в их показании «зачатками демократической государственности» (т.е. период хаоса свободы при Керенском, предшествовавший приходу к власти Троцкого, Зиновьева, Каменева и других псевдонимов). «Из истории тех страшных лет нельзя вычеркнуть их имена, как нельзя не упомянуть и о деятельности многочисленных евреев-большевиков, причинивших неисчислимые бедствия населению страны...» См. «Книга о русском еврействе», Нью-Йорк, 1968 г.

и владельцев какой-либо недвижимостью и, конечно, и в первую очередь, политиканствовавшей части интеллигенции; а те кто стоял в стороне попадал под репрессии часто из-за того, что большинство тогдашней русской интеллигенции не только нутром, а нередко и делом стояло в анти-советском лагере. Объявлять все жертвы красного террора «невинными» значит питать неуважение к тысячам тысяч чиновников, учителей, журналистов и других лиц свободных профессий, проявивших наивысшее мужество, — встречая смерть за противодействие большевикам без того, чтобы видел или знал о том еще кто-либо, кроме палача.

Русские философы, писатели, публицисты и в эмиграции десятилетиями вели спор об ответственности интеллигенции за революционную катастрофу. Спор осложнялся отсутствием согласия насчет того, что же это такое русская интеллигенция и кого к ней надлежит относить. Находились такие, кто считал интеллигенцию не просто образованной элитой общества, а своего рода Орденом идеалистов, горящих жертвенным огнем желания улучшить удел народа, — перед которым члены этого Ордена глубоко виноваты уже одним своим материально привелигированным положением; не только инженеров, а и Толстого с Достоевским, к примеру, к интеллигенции не причисляли. Критерием служила лишь политическая активность или участие в дебатах на философские темы, вроде будущего России, ее миссии в мире и пр. Кто же просто трудился на поприще народного образования, в учреждениях, на заводах, и не ратовал громогласно на собраниях и съездах за западные демократические аттрибуты, вроде конституции, полной свободы печати, тот просто выпадал из поля зрения; от имени русской интеллигенции говорили тогда профессионалы освободительного движения, политиканствовавшие профессора, адвокаты и участники демократической самодеятельности, земства. Так сложился узкий взгляд, перекочевавший и на Запад, что русская интеллигенция была сплошь революционной, подготовила и свершила революцию; медвежью услугу и интеллигенции и Западу оказал больше других Бердяев с его теорией коммунизма, как чисто русского явления,

продолжателя русской мессианской идеи. А теперь, к покаянным стенанием, что интеллигенция «породила сатанизм» (Мережковский), присоединились и иные советские диссиденты [7].

Солженицын и другие писатели-диссиденты, старающиеся передать новым поколениям в СССР то, что замалчивается или искажается в советской пропаганде, о гражданской войне сами знают по наслышке. И повторяют, незаметно для себя, шаблоны о сынках помещиков и заводчиков, шедших восстанавливать власть царей и богачей. Так получилось, что по сборнику «Из под глыб» «ин-

[7] По Булгакову, Бердяеву и подобным проповедникам всеобщего покаяния (в чем должны каяться жертвы?), типичными чертами русской интеллигенции служили: принадлежность как бы к иному миру, эсхатологическое мечтание о Граде Божьем и Царстве Правды и Мудрости, устремление к спасению всего человечества. С ними перекликается через полвека не только Солженицын, а и остающийся в СССР самиздатный автор с псевдонимом Алтаев. Возражая против смешения понятия интеллигенции, как явления совершенно своеобразного, на Западе неизвестного — как Ордена искателей истины, с понятием просто образованных людей, самиздатский автор считает, что русская интеллигенция и в новых, особых условиях тоталитаризма, при всех своих структурных трансформациях, сохранила все же черты прежнего, чисто духовного движения. Но тут же, противореча самому себе, Алтаев говорит — что «коммунизм был детищем интеллигенции», что та «не выступала против советской власти», т.к. «не с чем было выступать». Путаница возникла потому, что обычно говорят о русской интеллигенции, как о чем-то едином, целом. На самом деле, в прошлом состояла она из трех отличных и даже враждебных друг другу частей: кучки революционеров, по большей части полу-интеллигентов, недоучек и начетчиков марксизма; привелигированной материально и социально верхушки либерального меньшинства, и «молчаливого» большинства — по модному теперь американскому термину, т.е. основной массы провинциальной и служилой интеллигенции скромного достатка и политиканством не занимавшейся. В наше время сменились не только этикетки: революционеры называются диссидентами и состоят из самых мыслящих и образованных людей нашей страны — их тоже пока кучка; привелигированная часть сильно разрослась и именуется партийной интеллигенцией, но уровень ее образованности резко снизился, а вместо либерализма проповедует она реакционность; наконец молчаливое большинство превратилось в хор поддакивающей по необходимости безпартийной массы, вынужденной — по апостольскому стенанию, делать то, чего не хочет, а чего хочет — не делать. В моих воспоминаниях речь идет, в основном, как раз об этом большинстве, о незаметных тружениках, на которых, в немалой степени, держалась и прогрессировала царская Россия — и держится, но регрессирует морально советская.

теллигенция потянулась под защиту царского генералитета, а затем в эмиграцию» [8]. Как очевидец, я имею иное впечатление: красный террор был ответом на сопротивление большей части интеллигенции, в том числе и той, которая до тех пор держалась обычно в стороне от политики — теперь политика сама ворвалась в их жизнь [9]. Молодое поколение — сыновья учителей, врачей, земских деятелей, чиновников, из коих и состояли гл. обр. офицеры ускоренных выпусков военного времени, пошли в Белую армию чтобы освободить Россию силой оружия от узурпаторов-фанатиков. В то же время отцы их — и это совсем позабыто — основная масса интеллигенции, стало быть, оставшись под новой властью, повела против нее борьбу саботажем и заговорами. Чуть ли не на другой день после Октябрьской революции произошел поголовный уход служилой интеллигенции, что привело уже к полному хаосу [10] — кардинальный факт, всеми позабытый.

Несколько лет тому назад в Москве вышла удивительная по своей откровенности книга «Великий Октябрь и интеллигенция» С.А. Федюкина. В ней содержатся антисоветские высказывания многих тогдашних корифеев. Академик Ольденбург — провозглашал: «... темные, невежественные массы поддались соблазну легкомысленных и преступных обещаний»; знаменитый Шахматов сокрушался: «Мы хороним Россию»; один из лучших наших писателей, Короленко, осуждал и красных и белых «за жестокость, расстрелы», призывал «к милосердию»; Общество врачей заявляло, что власть большевиков «сплошное насильничество», «преступный эксперимент»; Всероссийский учительский съезд провозглашал, что учителя против «насильников народной воли», которые «силой штыков и пулеметов захватили правительственную

[8] Париж, 1974 г., стр. 224.

[9] Что к террору большевики все равно прибегли бы, само собою очевидно; но здесь я говорю просто о хронологии — и Сталин был прав, когда оправдывался как раз этим в интервью с немецким биографом Э. Людвигом (в 1931 г.).

[10] С другой стороны это облегчило создание новой советской бюрократии.

власть» и «несут русскому народу невыносимый гнет, кровь и меч, разорение и гибель». Все это и превратило ранее аполитичную массу интеллигенции в анти-советскую силу и обострило давнишнее недоверие и даже враждебность народных «низов», поддавшихся соблазну демагогических обещаний Ленина.

Ленин же был первым, кто разжигал враждебность, ненависть к интеллигенции. Ничего доброго не предвещал его раздраженный ответ на заступничество Горького: «Интеллигенция не мозг нации, а гавно. Это будет ее вина, если мы разобъем слишком много горшков»[11]. Троцкому же и этого было мало, и он восклицал призывающе: «Революция, где же твоя плеть?» По Федюкину, Горький увещевал Ленина воздерживаться от репрессий против «тех самых, что когда-то всем нам — вашим товарищам и даже вам лично, Владимир Ильич, оказывали услуги, прятали нас на своих квартирах». В ответ Ленин усмехнулся: «Да, славные, добрые люди; но потому-то и надо делать у них обыски. Именно поэтому приходится иной раз, скрепя сердце, их арестовывать. Ведь они — славные и добрые, их сочувствие всегда угнетенным, ведь они всегда против преследователей. А что они сейчас видят перед собой? Преследователи — это наша ЧК, угнетенные — это кадеты и эсеры. Очевидно, долг, как они его понимают, приписывает им стать их союзниками против нас. О, нам надо активных контр-революционеров ловить и обезвреживать. Остальное ясно»[12]. Двенадцатая партийная конференция и записала: «нельзя отказываться от применения репрессий и против политиканствующей верхушки мнимо-беспартийной буржуазно-демократической интеллигенции».

В Петрограде, где моя семья переносила революционную бурю, большевистская власть утвердилась сразу и прочно, — поэтому репрессии против интеллигенции носили менее анархический характер, если и не менее жестокий. Моему отцу повезло, но сколько наших знакомых

[11] «Ленин и Горький», изд. Академии Наук СССР, Москва, 1961 г.

[12] Книга Федюкина издана в 1972 году.

— ученых, писателей, адвокатов — погибало заодно с бывшей аристократией, офицерством и духовенством! Наряду с «бывшими людьми» из комфортабельных квартир переселяли в сырые рабочие подвалы и лиц свободных профессий — «пожили, давай теперь другим пожить!» приговаривали рабочие с винтовками за плечами. При массовых ночных обысках красногвардейцы автоматически стучались в нашем доме в те три двери, на которых по старинке еще красовались ярко начищенные медные дощечки «Профессор...». Били враждебную или просто испуганную интеллигенцию и материально. Голод, холод, эпидемии охватывали постепенно всю страну — Ленин назвал тогда вошь главным врагом революции. Хуже же всех пришлось людям, непривычным к лишениям и сугубо непрактичным. А профессоров, учителей, адвокатов объявили «нетрудовым элементом» — трудом считался только физический труд, право на жизнь имели одни мозолистые руки. Это значило, что интеллигенция, как и бывшие владельцы собственности, дворяне и пр., была поставлена на ту же последнюю ступень перед смертью, так как получала лишь знаменитую «восьмушку» хлеба в день (50 гр.), да и то нерегулярно; кстати говоря, с теми, кого власть считала лишними ртами, обошлась она не хуже нежели Запад в отношении тех же людей, когда удавалось тем «избирать свободу».

Еще трагичнее пришлось старой интеллигенции на окраинах, где гражданская война бушевала еще несколько лет. В Киеве, например, переходившем из рук в руки, говорят, 18 раз, репрессии обоих враждующих сторон автоматически обрушивались на образованных людей. Белые считали изменниками всякого, кто с голодухи прекращал саботаж и шел служить в советские учреждения; с отголоском я столкнулся и четверть века спустя, в эмиграции, когда старые, анти-советские беженцы встретили новых, советских, в штыки — мы были для них красными (даже такой, казалось, культурный человек, как профессор Калифорнийского университета Глеб Струве, и тот, при нашей первой и последней встрече, упрекнул меня за службу у большевиков — свою собственную как писали газеты, у Сиайэ, Струве считал, как видно, верхом патрио-

тизма [13]. Для красных же университетский диплом выглядел как удостоверение в контрреволюционности. Установление советской власти в областях, отбитых у белых, сопровождалось чуть ли не поголовным истреблением интеллигентов, не бежавших вместе с белыми. Так для «очкастых» и «долгогривых» наступали как бы последние времена. Походило на то, что сбывалось злое пророчество до-революционного поэта:

В Европе сапожник бунтует что-б барином стать
— понятное дело!
У нас революцию делает знать —
В сапожники что-ль захотела? [14]

Горький и более культурные или менее злобные из большевистских вожаков — вроде Луначарского (протестовавшего уже против обстрела Кремля красногвардейцами), давно стали возражать против анти-интеллектуальной стихии, переходившей от актов индивидуальной ярости к чему-то подобному американскому презрению к собственным «очкастым» и «долгогривым», к «egg heads», как их зовут в Америке [15]. Тогдашний разгул гонений на интеллигенцию в книге Федюкина считается теперь «несоответствием меры вины и меры наказания». Припоминаю басок Горького при посещении им отца — знакомы были они по пред-революционной работе в одном из «толстых журналов»: Ленина он никак не может убедить, что дискуссия насчет того, кто «важнее» — пролетариат или интеллигенция, подобна спору между парусами и рулем в крыловской басне. Кончилась дискуссия разрывом и отъездом Горького в семилетнюю эмиграцию. Однако, суровая действительность полного развала принудила Ленина изменить курс. Признав, что «без

[13] Об этом сообщалось в «Геральд Трибюн» 5 сентября 1967 г.

[14] С одним из таких я познакомился в сталинское время в Москве: отпрыск громкой фамилии, князь Святополк-Мирский, в первую мировую войну, будучи офицером гвардейского полка, агитировал среди солдат против войны и царизма; в эмиграции заделался членом британской компартии; вернулся на родину что-бы погибнуть, как «засланный шпион».

[15] Об этом известный американский социолог Гофштедтер написал большое исследование «Anti-Intellectualism in American Life», Нью-Йорк, 1964 г. (см. стр. 20 и след.).

военных спецов не было бы Красной армии» — Ленин принудил рьяных своих пособников спасти остатки интеллигенции, которую добивал теперь еще более беспощадный враг, чем ЧК, — голод. Была принята давнишняя идея того же Горького о специальном снабжении тех, кто отказывался от продолжения саботажа и забастовки. Одновременно, привелигированное снабжение должно было показать массам, что надобно изменить отношение к образованным людям, раз те переходили от пассивного сопротивления к вынужденному сотрудничеству с властью. Так возник «Ученый паек» — смешным было не только название, но и содержание: пара фунтов муки, горсточки чая и сахара, полдюжина ржавых селедок, — но и это было дать тогда труднее, чем сегодня летать на луну. На Западе же — не могу удержаться от расшифровки только что сделанного замечания с горькой участи образованных людей в эмиграции — на Западе и такой минимальной заботы не проявили, оставив беглецов жить как могут и умирать как хотят. Советский же Ученый паек спас остатки старой интеллигенции и помог этим спастись самой советской власти. Обе наверняка бы погибли из-за невозможности вырваться без помощи знающих людей из хозяйственной разрухи, или, позже, устоять под ударом гитлеровской военной машины, не успей эта старая интеллигенция обучить новых техников и ученых; перефразируя Бисмарка, говорившего, что войну, сделавшую Германию мировой державой, выиграл прусский школьный учитель, мы можем сказать, что современную Россию супер-державой сделала русская интеллигенция — под дулом «нагана», в основном. Вспоминаю, что отца с одра тяжкой болезни из-за полного истощения поднял телефонный звонок из Кремля. Знакомый уже всей России слегка картавивший голос сообщал, что «товарищу профессору» послан по старой просьбе Горького продовольственный пакет — с одновременным предложением взяться за организацию первого в истории планирования финансов; отца, кажется, поразило сперва необычное обращение. Так оказался стабилизированным рубль. «Власти могут быть разные — страна же у нас одна» — говорил отец.

Однако, все это являлось лишь началом трудной задачи реабилитации нужной советской власти до зареза интеллигенции. Гражданская война, как сказано, продолжала полыхать на окраинах огромной страны; ее последними трагедиями были восстание грузинских социал-демократов и религиозно-национальная резня в советской средней Азии, повидимому спровоцированные из заграницы — и это 10 лет после Октябрьской революции, свершенной под лозунгом немедленного мира! Все эти долгие напряженные годы новая власть пребывала в страхе перед возобновлением интервенции — не один Черчиль призывал задушить эту власть пока та слаба, «в колыбели». Шаткой власть была и из-за внутри-партийной склоки, начатой столкновением между амбициями Троцкого и Сталина и доведенной последним до крайностей расправ со всеми по очереди соратниками Ленина; сей «повар» готовил действительно только «острые блюда», по выражению ленинского завещания. Опасными для новой власти казались и остатки Белой армии, безобразно интернированные союзниками в лагерях соседней Турции. Опасными представлялись и два миллиона белых эмигрантов, сеявших по миру страхи перед большевистской угрозой (семена, как мы теперь знаем, падали на каменистую почву злорадства русской разрухой, которую, как надеялись на Западе, большевики доведут до превращения России в беспомощную игрушку в руках западных нео-колониалистов). Не было недостатка и в попытках установления контактов между эмигрантскими организациями и единомышленниками в советской России, в среде интеллигенции, внешне покорившейся, внутренне кипевшей негодованием и враждой. Все это поддерживало традиционное недоверие к интеллигенции.

Первый кровавый прокурор советского партийно-олигархического государства, Крыленко, гремел на одном из первых же процессов-расправах: «Кроме помещиков и капиталистов, продолжает существовать еще один общественный слой, над социальным бытием которого задумываются представители революционного социализма. Этот слой — так называемая интеллигенция. В данном процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции и с судом революции над ней...»

Не Крыленко и подобным изуверам было выносить приговоры истории, а суд «революции» состоялся и над ними самими, покаранными своими же «представителями революционного социализма». Но, действительно, тяжела была историческая ошибка отчужденности интеллигенции от народа из-за увлечения заимствованной у Запада игрой в парламентскую демократию, народ, никак не интересовавшую; незамеченным прошло своевременное предвидение Константина Леонтьева, что «За свободу печати и парламентских прений (народ) не будет драться», интересует народ лишь получить «как можно больше земли», чтобы лучше жить. Так получилось, что по одной из не очень часто верных констатаций Бердяева, русские образованные люди и народные массы жили, по существу, в разных столетиях, как бы в «разных этажах»[17]. Но еще тяжелее ошибки оказалась расплата. Ржавые селедки не изменили практически враждебного отношения к интеллигенции и после того, как та капитулировала и перешла к коллаборантству по нужде.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ДВУМЯ ПЕРЕЖИТКАМИ

Еще задолго до революции в кругах революционеров имело место ходкое воззрение на интеллигенцию, как на паразитарный класс, враждебный пролетариату во всех условиях, но особенно опасный после захвата власти. По мнению фанатика-демагога Махайского, одного из глашатаев этого взгляда, после революции интеллигенция подберется к власти и ототрет рабочий класс в прежнее подневольное состояние. Предупреждение было верным, но абсолютно нереальным. Югослав Джилас с его «Новым классом» только подтвердил нетрудный прогноз Махайского, которому Ленин смог противопоставить лишь демагогический лозунг, что всякая кухарка может научиться

[17] Сборник «Из глубины», Петроград, 1918 г., стр. 72, и «Русская идея», Париж, 1946 г., стр. 222.

управлять государством. Многие научились, но при этом перестали быть кухарками. Свидетельством служит сегодняшняя советская бюрократия из вчерашних рабочих и крестьян, так сказать пролетариев в мещанстве, еще ждущие своего Мольера.

«Махаевщина» удерживалась в настроениях и после захвата власти. Еще в конце тридцатых годов происходили нелепые случаи, когда рабочих, окончивших высшие учебные заведения, зачисляли во второсортную социальную категорию служащих, например при приеме в партию (для не-рабочих условия приема носили временами запретительный характер).

Еще большее влияние на отрицательное отношение к интеллигенции оказал один из уже вовсе крайних революционеров далекого прошлого, Нечаев.

Про Нечаева — одного из организаторов первых русских студенческих волнений уже столетней давности, Бакунин писал: «Это фанатик... преданный но в тс же время очень опасный. Способ его действий отвратительный... Он пришел к убеждению, что надо взять за основу политику Макиавелли и вполне усвоил систему иезуитов: для тела — насилие, для души — ложь». Синтез макиавеллиевской политики с системой иезуитов Нечаев наблюдал на Западе, куда сбежал от ареста в России. На Западе же написал Нечаев и свой «Катехизис революционера» — руководствуясь, повидимому, программой бабефовского «Заговора равных» и других крайне-радикальных групп; что вдохновение черпал Нечаев на Западе видно из оживившихся там в наши дни анархо-троцкистских и маоистских террористических группок, думающих уничтожить все общественные устои бомбами, похищениями и убийствами; зачатки уругвайских Тупомарос или баскской ЕТА существовали и в дни Нечаева — лишь с примитивными средствами террора [18].

[18] Вот что рекомендуется в «Mini-Manuel of Guerilla» бразильского террориста Маригелла: «Терроризм — оружие, от которого революционер не может отказаться. Ограбления банков, засады, похищения оружия, освобождение заключенных, убийства, саботаж и война нервов — все годится. У правительства не останется другого как усиливать репрессии, а это то способствует интенсификации хаоса». См. «Геральд Трибюн», 27 сентября 1975 г.

«Революционер — человек обреченный» — провозглашалось в «Катехизисе». «У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в революционере поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией. Он разорвал всякую связь с гражданским порядком... со всеми законами и нравственностью. Нравственно для него то, что способствует революции» [19]. И Нечаев следующим образом определяет существо характера революционера-разрушителя: «Суровый к себе, он должен быть и суровым для всех других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности, даже самой чести, должны быть задавлены в нем холодной страстностью революционного дела».

Пояснялось в «Катехизисе» и как именно надлежит революционеру проводить в жизнь «страшное, повсеместное и беспощадное разрушение». Предшественник современных западных ниспровергателей всего и всех, бунтарей ради бунта, утверждал, что «поганое общество» должно быть поделено на «несколько категорий». Первая категория — «неотлагаемо осужденных на смерть». Вторая — люди, которым «даруют только временно жить»; относил к ней Нечаев таких носителей власти, которые «зверскими поступками и глупостями» могут «довести народ до бунта» [20]. К последней категории осужденных на смерть относил Нечаев «всех праздно разглогольствующих на бумаге», помогающих революционерам «языком», но «для страшного дела революции практически непригодных». Даже философов и теоретиков, разрабатывавших планы по-революционной созидательной работы, Нечаев относил к категории «болтунов», коих надобно подталкивать на «головоломные», т.е. ультра-утопические заявления, результатом чего явится «бесследная гибель большинства» и «революционная выработка немногих» [21].

[19] Это, буквально слово в слово, повторил Ленин.

[20] Как рассказывают, Сталин запретил убивать гитлеровского гауляйтера на Украине, Коха, своими зверствами и глупостями успешно содействовавшего росту партизанского движения.

[21] По антологии С.П. Жаба, «Русские мыслители о России и человечестве», Париж, 1954 г., стр. 141-144.

Сам Нечаев к «болтунам» не принадлежал. Свой «Катехизис» он попробовал испытать на практике после нелегального возвращения в Россию, организовав конспиративно-террористическую группку «Народная расправа». Единственным ее действием оказалось убийство одного заколебавшегося участника, и драма эта взволновала всю думающую Россию гораздо больше, чем западные нечаевы волнуют сегодня мир сотнями похищений и убийств [22]. Для Достоевского (и Тургенева) послужила драма материалом для одного из самых ярких обличений преступлений революционеров, вершимых, мол, для устранения преступлений реакционеров.

Хотя подобно Бакунину и Маркс с Лениным отмежевывались от нечаевских рецептов, тяжкая опасная борьба за подготовку, а затем за осуществление революции и упрочнение созданного строя, требовали действительно нечаевской техники. Ленин и создал свою партию «нового типа» по «Катехизису» (и по советам сходного с ним другого фанатика, Ткачева) [23]. Ее ряды ограничил он небольшим числом строго отобранных, особенно стойких и полностью, до самоотверженности преданных «профессиональных» революционеров; я видел анкету руководителя советской дипломатии Литвинова, где он таким себя и выставлял в ответе на вопрос о роде занятий. Опасности подпольной борьбы, тяготы эмиграции, ужасы гражданской войны, — все это принудило стать вдвойне суровыми, жесткими и жестокими, равнодушными к страданиям и смертям, включая собственные. И, главное, стать патологически подозрительными и нетерпимыми. В сочетании с догматическим фанатизмом, с которым революционеры-коммунисты всегда стремились и стремятся к захвату власти, давало это в сумме нечто подобное мании преследования — прежде всего других. Солдат штурмового отряда революции привыкал убивать не только для того, чтобы не быть убитым самому, но в порядке превентивного уничтожения потенциально враждебных «социальных категорий». Постепенно, профессиональные революционеры свою миссию стали видеть не столько в мобилизации сторонников, сколько в уничтожении врагов — действительных, воображаемых и, в особенности, провоцируемых безобразиями и преступлениями, творимыми самими революционерами. «Катехизис» отвергнут был только на словах и, явно, лицемерно.

Применению постулатов «Катехизиса» в России способствовало то, что среди профессиональных революционеров очень высок был процент крайне-левых группок сплошь полу-интеллигентского типа и не-русского происхождения. Были они в особенности фанатичны и чисто по-нечаевски выступали за борьбу без всякого перерыва, за пресловутую перманентную революцию; настолько фанатичны, что даже не поняли, что критиковавшаяся ими идея Сталина сперва укрепить силы советского государства и только затем начать штурмовать мировой капитализм, была более умной нежели драматический, даже театральный жест пожертвования советской властью (и миллионами русских жизней) в заранее обреченном на провал партизанском наскоке на более сильный тогда Запад. (Троцкий считал, что, как и падение Парижской коммуны, гибель первого коммунистического государства революционизирует мировой пролетариат, — а только тот один, в его глазах, и был способен осуществить мировую революцию).

Дело было также в том, что радикальные фанатики и фантасты были чужды России и русскому народу, в известной своей части пошедшему за большевиками не из

---

[22] Современным образчиком западного нечаевца может служить бывший сподвижник Тито, Милован Джилас. В своих мемуарах (1973 г.) Джилас и заявляя, что он порвал с коммунизмом, спокойно, без тени стыда, не говоря о раскаянии, повествует, как жестоко участвовал он в пытках, убийствах, насилиях всякого рода при захвате власти титовцами, все ради «истины», возвещанной Марксом, Лениным и Сталином. А совсем уже сходным может служить случай лидера японской компартии, Миамото, убившего члена партии, заподозренного в измене («Ньюсуик», 16-го февраля 1976 г.). Явное дело, в международном коммунистическом движении, случай не единичен.

[23] «Ближайшая, непосредственная цель революции» поучал Ткачев, должна заключаться ни в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственной властью, уничтожить консервативные и реакционные элементы общества»; «осуществить это легче и удобнее всего посредством государственного заговора, из чего вытекает необходимость дисциплинированной организации...». См. Жаба, цит. соч. стр. 147-148.

чувств пролетарской солидарности, так называемого пролетарского интернационализма, не ради свершения мировой революции, а поверив демагогическим лозунгам о мире и земле. И не просто чужды, а и враждебны. Вина за антисемитские погромы лежала на старорежимных расистах, уже лежавших в могилах или догнивавших в эмигрантской нищете, вымещалась же она троцкистами на всем русском; символичным было массовое снесение в те времена не только церквей, а и исторических памятников русской славы. Работая одно время в «Известиях» с троцкистом Карлом Радеком, я помню с каким высокомерным презрением рассуждал он о «русском мужике», по варварству своему противившемуся вытягиванию из «азиатчины»; было это в разгар кровавой коллективизации, гибели миллионов сельских тружеников, кормивших всегда страну, защищавших ее от внешних врагов. Но народ чужой страны был для «безродных космополитов», как прозвал Сталин троцкистов, не хозяином земли своей, а материалом для разжигания и свершения мировой революции — ради мировой революции [24]. Для этих и само советское государство оказывалось чем то вроде помехи «холодной страстности революционного дела». Видный большевик-подпольщик, а затем репрессированный троцкист, Лашевич, говорил: «тот, кто «берет всерьез» советское государство и его национальные интересы, а не жертвует ими ради мировой революции, «показывает лишь, что он по простой случайности находится в партии» [25].

По существу и сталинская политика построения со-

[24] Люди этого типа — предсказывал Достоевский — могут оказаться «страшно несчастливыми», если бы Россию перестроили на их лад и стала та безмерно богатой, счастливой, спокойной».

[25] В разговоре с одним из первых, беглых впоследствии, советских дипломатов, Беседовским; см. его «На путях к термидору», Париж, 1931 г. стр. 130. Бертран Рэссэль в воспоминаниях о Москве первого революционного времени нашел, что страна управляется «изолированной, тираннической бюрократией со системой шпионства куда более развитой и страшной, чем царская, и (новой) аристократией столь же наглой и безчувственной и состоящей из американизированных евреев». Имел Рассель в виду, вероятно, то, что вместе с Троцким из США вернулось много сторонников, ранее сбежавших от погромов в царской России. См. том 2-ой его «Автобиографии», Лондон, 1968 г.

циализма (сперва) в одной стране, или, точнее, создания военно-индустриальной базы для мировой революции, носила те же черты. По Сталину, «суть социализма» заключается не в том, чтобы «насадить на земле рай небесный и всеобщее довольство». Заключается эта суть не в подобном «обывательском, мещанском представлении», а, оказывается, в том, чтобы «сомкнуть сельское хозяйство с индустрией... создать такие условия производства и распределения, которые ведут прямо и непосредственно к уничтожению классов» [26]. Как и в нечаевском «Катехизисе», народ, его интересы и благо отсутствуют и тут.

Отвергая нечаевско-троцкистскую концепцию неподготовленной как следует решающей схватки с капиталистическим миром, Сталин и его сторонники — как и он сам напористые, но полуобразованные, решили, что в самой России социализм их понимания должен насаждаться методами гражданской войны; а их же авторитет, Ленин предупреждал, что использование таких методов в мирных условиях — «величайшая ошибка», могущая привести даже «к краху советской власти»; что при смешении легальности с нелегальностью «люди запутываются... начинают выдумывать совершенный вздор» [27].

Но иного пути не имелось — ломка привычной жизни и обычных человеческих навыков и морали затрагивали всех и каждого и вызывали всеобщее недовольство и отнюдь не всегда чисто пассивное сопротивление. В Кремле и мыслили чисто военными категориями: фронт и тыл, наступление и оборона, прорыв и вылазка и, конечно, беспощадность к врагу. Во враги же попадал всякий, кто не только что протестовал или критиковал, а и просто предлагал более осторожные и мягкие методы проведения в жизнь тех же планов. Зачислялись во враги и те, кто недостаточно рьяно подпевал хору славословий мудрости и непогрешимости новой святой троицы — Сталина, Партии

[26] «Еще к вопросу о соц. дем. уклоне в нашей партии», стр. 155, Москва, 1931 г.

[27] Собрание сочинений, том 32, стр. 166, и «Детская болезнь левизны в коммунизме» («Избр. собрание сочинений», том 2, стр. 567).

и Коммунизма. Часто и по простым воробьям стреляли из пушек; и перебили немало воробьев. По Марксу, революция считается повивальной бабкой истории. Сталинцы продолжали играть роль повивальных бабок и после революции, и притом таких, что умели делать одно только кесарево сечение. И этим навредили они и самим себе хуже всяких врагов: создали в стране вечное недовольство и возмущение — раз уже прорвавшееся наружу в дни последней войны (см. главу о власовцах), а за рубежом помогли столь же прочному восприятию СССР — вернем Сталину его комплимент старой России, — как «жандарма Европы и палача Азии». Что же касается ленинского опасения, то нелегальные способы в формально мирных условиях действительно привели к краху советской власти, оставив от нее одно только название.

Для дальнейшего ведения гражданской войны против народа, упиравшегося когда тянули тот силком «сомкнуть сельское хозяйство с индустрией» и «создать условия производства и распределения», потребовалось новое пополнение кадров подпольного, конспиративно-террористического типа. Воспитание сталинского поколения вожаков и активистов и велось по «Катехизису». Назвал Сталин своих выучеников «людьми особого склада» и его перечисление элементов этой особенности воспроизводило, опять таки, «Катехизис». Организовав партию для подпольной деятельности, Ленин, после «генеральной репетиции революции» в 1905 году, принялся превращать партию одиночек-конспираторов в массовую партию рабочего класса, подталкиваемого на захват власти (подразумевалось: профессиональными революционерами). Махайский не был неправ, как видим [28].

[28] На Махайского ополчились из за того, что тот указал перстом на сокровенную цель профессиональных революционеров, — захват ими власти руками рабочих, которым обманно обещали стать «гегемоном революции», «правящим классом», «творцом и руководителем» своего «рабочего государства». По сути же, и сам Ленин задолго до революции вторил Махайскому: «социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть привнесено только извне» — «как результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции» (том 5, стр. 347-348). А уже после революции, хлебнув хмель власти, Ленин

Сталин же и после победы над всеми внутренними и внешними врагами, на втором десятке лет властвования верхов партии, все еще уподоблял ту «ордену меченосцев» — именно меченосцев, не каких-нибудь там «добрых самаритян». В самый разгар успехов принудительного сооружения военно-индустриальной основы так называемого социалистического общества, в 1937 году, он даже уточнил, что состоит партия из чего-то вроде армейской иерархии: из «генералитета», «офицерства» и «унтер-офицерского состава». Значило это, помимо признания что в партии никакого равенства нет, и то, что беспартийным массам, народу, отводилась роль послушной, нерассуждающей солдатчины. К честному, т.е. плодотворному сотрудничеству муштровка дутыми лозунгами и суровыми репрессиями, прикрываемых потоками орденов за геройский труд, мало располагала. Верхи, их беспощадной требовательностью быть героями труда, т.е. ставить выше личного интереса и даже выше личного блага работу на государство, — про которое партийные олигархи могли повторить «государство — это я», вносили элемент принудительности и боязни. Низы же расхолаживались не только трудом из под палки, а и низкими расценками, заставлявшими читать теоретический принцип социализма, как «от каждого по сверх-способности, каждому меньше, чем за его труд». Иностранные корреспонденты и сегодня слышали, что в народе говорят: «они» делают вид, что платят, мы делаем вид, что работаем; в мое время на заборах писали и нечто более забористое: «Слева молот, справа серп, это вам советский герб — хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь...». Вечная язва принудительной экономики наряду с продовольственными перебоями — низкая производительность труда, влечет за собой

также откровенно-цинично возвещал необходимость «единоличной диктаторской власти», »направляющей совместную работу сотен тысяч и десятков тысяч людей...», и их «безусловного подчинения единой воле...» (том 27, стр. 238-239). Окрещено это диктатурой пролетариата. На деле же, и в теории ленинизма и его практике, это та диктатура над пролетариатом, которую пытались заклеймить оппозиционеры в рядах самой же партии пока им не закрыли рот. Советская цензура должна была бы, собственно, запретить не только Солженицына, а и Ленина.

нажим и репрессии. А нажим и репрессии еще больше расхолаживают. Так создался порочный круг, выхода из которого не найдено. Еще в 1931 г. Сталин поставил задачу «догнать и перегнать» передовые капиталистические страны «максимум в десять лет»[29]. И к началу войны с Германией этого достигнуто не было — и без американской помощи оружием, сырьем, продовольствием подеба была бы сомнительна. Только через сорок лет создали индустриально-военный комплекс, приблизивший к американскому уровню. Но достигли этого путем экстенсивного развития за счет расточительного, грабительского использования природных богатств, что, как в Америке, начнет мстить за себя в будущем (там говорят о «ковбойской экономике»). Это привело к внушительному валовому приросту совокупного общественного продукта, но основное, что решает — высшая, по сравнению с Западом, производительность труда — продолжает оставаться низшей. Даже за хлебушком приходится идти за океан кланяться — и не столько из-за неурожая, а потому, что тогда как 4 миллиона американских фермеров кормят 200 миллионов сограждан и подкармливают 250 миллионов в СССР (и в ряде других стран), 38 миллионов колхозников не могут обеспечить снабжения и собственной страны. Не могут т.к. не хотят чуть ли не задарма работать на нового помещика — государство.

В автобиографии представителя третьего советского поколения, поэта Евтушенко, я нашел свежее подтверждение моим тогдашним, смутным еще впечатлениям, что до добра все это не доведет. От совсем еще тогда юнца, от Евтушенко, не ускользнуло в последние годы правления Сталина, что «самая страшная опасность в истории каждого народа — несоответствие между жизнью внутренней и внешней... Сталин извращал Ленина, потому что весь смысл деятельности Ленина заключался в том, что коммунизм для людей, а по Сталину получалось, что люди для коммунизма. Сталинская теория, что люди — винтики коммунизма, превращаясь в практику, давала страшные результаты. Труд как символ ставился выше тех, кто трудился. Это отражалось на всех сторонах жизни[30]. Солженицын и другие новейшие диссиденты выразились еще острее: по их свидетельству, официальная, внешняя советская жизнь пронизана фальшью, ложью[31].

Уже по одному этому трудным оказалось пересаживать Россию с крестьянской клячи на мощный трактор, как образно определил Ленин задачу преобразования отсталой крестьянской страны в сверх-индустриального гиганта социализма. Еще труднее довелось тем, кого пересаживали: они так привыкли к своей кляче, если и кормила та впроголодь. Не столько репрессии и расправы несли с собою главное отчаяние — в конце концов, вопреки крокодиловым слезам в западных повествованиях о «Биг Террор», обрушивались репрессии и расправы на меньшинство, и рядом с вырванной жертвой большинство продолжали жить своей трудной повседневной жизнью в погоне за хлебом и портками; горевали вдовы и сироты, остальные испуганно отворачивались. Наибольшее отчаяние — уже не меньшинства, а большинства, вызывало иное: не физический террор, а психологический нажим, сталинское пренебрежение тем, что у людей имеется все же то, что зовется душой или сердцем, т.е. чувства, реакции на то, что с людьми делают другие люди, прежде всего власть имущие. Обжегшись на собственной попытке ввести коммунизм наскоком, Ленин провозглашал, что потребуются поколения прежде чем удастся преодолеть в людях пережитки прежней собственнической эгоистичной психологии. Сталин же решил, что может разом потребовать от вчерашнего мелкого хозяйчика-крестьянина изображать из себя сознательного члена коллектива, горящего пафосом ликвидации «идиотизма деревенской жизни». От рабочих, привыкших при царе бастовать и даже бунтовать, когда ухудшались или не улучшались условия труда и жизни, Сталин требовал и при низкой заработной плате и потогонной системе социалистического соревнования считать себя хозяевами «своего» государ-

[29] Речь о задачах хозяйственников; два года спустя Сталин обещал сделать всех колхозников «зажиточными» в 2-3 года.

[30] Лондонское издание 1964 года, стр. 18.
[31] «Из под глыб», стр. 256.

ства. Еще острее чувствовалось столкновение нечаевских пережитков с действительностью у людей интеллигентного труда. Привыкли они к почти-что нестесненной при царе академической свободе, к возможности писать и говорить что их душе угодно, общаться с западными коллегами и расшаркиваться перед всем чужеземным, короче, чувствовать себя элитой общества. Их же, по-нечаевски, зачислили теперь в «болтуны», которых власть хочет использовать, а затем выбросить как выжатый лимон.

БЕСПАРТИЙНОЕ ГЕТТО

Еще до середины тридцатых годов интеллигентов членами советского общества не считали. Только так называемая сталинская конституция милостиво приняла «трудовую интеллигенцию» под свое, светившее только для западных горе-либералов, но нас не гревшее, а огревавшее солнце; впрочем, милость была оказана только потому, что в среде новой интеллигенции стало оказываться все больше и больше подучившихся рабочих и крестьян.

Называли на первых порах беспартийных интеллигентов «спецами» — по обычному в обиходе сокращению. Но носило это обозначение дискриминационный, даже пренебрежительно-враждебный характер. Быть беспартийным интеллигентом значило стоять на последней ступени социальной лестницы, человеком второго сорта, хуже еще, человеком сомнительной лояльности, чуть ли не врагом, которого еще надо разоблачить и покарать. Голоса в решении вопросов, над которыми они работали, спецы не имели, в партию их не принимали, словом, третировали, как временную и неизбежную неприятность. От спецов требовалось одно: обучить новые коммунистические кадры, иными словами подготовить собственную сдачу в архив.

Установку дал сам Сталин, говоря о вернувшемся из эмиграции «сменовеховце», проф. Устрялове: «Он служит у нас на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что если он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено,

товарищи. Но пусть он знает, что мечтая о перерождении, он должен вместе с нами возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет» [32].

Как и везде, неприятнее жестких директив и беззаконных законов оказывались исполнители, преисполненные «комчванства», «комболтовней» и «комвраньем», клеймившиеся Лениным. И, сверх того, подгоняемые страхом самим попасть под обвинения в «недостаточной бдительности», в «гнилом либерализме» и в «покрытии врагов народа». А тон задавался с самого верха, когда не одно только ОГПУ-НКВД, а сами вершители судеб страны и народа, вроде Молотова, показывали пример беспощадности. Молотов, приказывавший расстреливать жен недавних товарищей по подполью, революции и работе в Политбюро, чуть было не загубил и моего отца, внеся его имя в список членов после-советского правительства, которое будто-бы намеревалась создать будто-бы существовавшая «промышленная партия» — несомненная провокация власти, наметившей очередную расправу со старой интеллигенцией [33]. Удалось Молотову загубить из числа наших знакомых и профессора Сабанина, лучшего специалиста по международному праву — и это несмотря на то, что одним из первых царских дипломатов пошел тот помогать новой власти своей родины организовывать ведомство иностранных дел. В роковом тридцать седьмом году арестовали старого-престарого отца Сабанина, и в ответ на мольбу о заступничестве, адресованную Молотову, тот обратился на Лубянку со зловещим каламбуром: «Разве этот профессор все еще в НКИД, а не в НКВД?» [34].

Каков поп — таков и приход, и многие рядовые партийцы старались не отставать в проявлении бдительности

---

[32] Напомню, что «сменовеховцами» звалась небольшая группа эмигрантов-интеллигентов, вернувшаяся в СССР с планами содействия демократизации советских условий; нужно ли говорить, что прошло немного времени с благодушного замечания Сталина (на IX съезде партии, в 1925 году), и Устрялову не дали и мечтать.

[33] Об этом по секрету рассказал отцу его начальник, председатель Госплана, Кржижановский, — чье заступничество и спасло отца.

[34] НКИД — Народный комиссариат иностранных дел, НКВД в расшифровке не нуждается.

и непримиримости, вкладывая в гонения на спецов все свое тупое и злое усердие. Ни прежние заслуги, ни знания, нужные власти, не спасали от мелочной травли, портившей жизнь беспартийным коллегам. На каждом шагу по каждому поводу приходилось сталкиваться с проявлениями грубого и глупого недоверия, игнорирования, демонстрирования того, что беспартийного спеца своим не считают. Мелочи часто жалят больнее, и сколько раз закусывал я в обиде губы, когда при моем появлении товарищи-коммунисты прекращали разговор, или под носом у меня переворачивали вниз текстом лежавшие на столе секретные бумаги, беспартийному знать не полагавшиеся. Тогда я еще не знал текста нечаевского «Катехизиса» и что стояло в нем, что «у каждого товарища должно быть под рукой несколько революционеров 2-го и 3-го разрядов, т.е. не совсем посвященных, знающих только те подробности, те части дела, которые выполнять пало на их долю», и на которых «надобно смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение».

Сказывались и личные неприязни. Новые министры, генералы, директора из вчерашних рабочих и крестьян, или же чаще из полуинтеллигентов, нахватавшихся поверхностных знаний бывших учителей, бухгалтеров, недоучившихся студентов и пр., с новой, сложной и непривычной работой справляться без помощи спецов не могли. Одна эта зависимость вызывала раздражение у «кухарок», начавших, по совету Ленина, учиться управлять государством — и учиться часто поразительно успешно. Неизбежные промахи и глупости вымещались на спецах, обвинявшихся в саботаже. На судебных инсценировках 1928-38 гг., в дни двух пятилеток «большого террора», козлами отпущения Сталин и делал и своих коллег-соперников, и спецов, отвлекая на их головы недовольство народа [35]. Это про сталинское сваливание с больной головы

[35] На «процессе» Бухарина Вышинский выложил карты на стол, гремя: «Ясно почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом все эти изменники». В последних изданиях истории партии старые большевики

на несчастную пророчески сказано у Достоевского в «Бесах»: «все они от неумения вести дело ужасно любят обвинять в шпионаже».

Советскую карьеру начал я в дипломатическом ведомстве, в упомянутом НКИД, и под заботливой опекой того же Сабанина, передававшего свои обширные знания новому поколению старой интеллигенции. Начитавшись с детства великосветских романов с дипломатами с моноклем в глазу и с хризантемой в петлице, строившими или распутывавшими сложные государственные интриги, о дипломатической службе мечтать я стал уже на школьной скамье. В этом желании укрепило меня и чтение в университетские года более серьезных, но также сильно романтизированных историй дипломатии. Видел я дипломатию высоким и благородным искусством, которое одно только выручало из бед, причинявшихся кровожадными генералами и близорукими политиками. Рисовались мне дипломаты некоей олимпийской породой, элитой. К тому же Венский конгресс, пышные рауты и церемонии, самый французский язык, которым я тогда увлекался, доведенный до верха изящества в заверениях в совершенном почтении и наилучших пожеланиях, все это казалось таким возвышенным, таким захватывающе интересным — в особенности на фоне серых и трудных будень примитивного повседневья из коих состояла моя юношеская жизнь во времена пятилеток и процессов. Блеск дипломатического карнавала закрывал от меня закулисную суть: то, что была дипломатия, как я понял потом только, при практическом соприкосновении, показной, камуфлирующей формой неумелой, грязной и нередко преступной политики, подвизалась на ролях как бы похоронного бюро, декорирующего цветочками горечь и отчаяние потери. Можно ли было ожидать от жизнерадостного, восторжен-

шпионами всех возможных иностранных служб больше не клеймятся, беспартийные же спецы, загубленные на Шахтинском процессе, на процессе Промпартии, при многочисленных вне-судебных расправах, не реабилитируются. Что же касается «перебоев», то, как известно, процветают те и поныне и, так как Бухариных больше нет, о закупках зерна в США нынешние Вышинские принуждены попросту трусливо молчать.

ного, жаждавшего добра и красоты юноши бо́льшего, чем от современных апологетов профессиональной дипломатии, вроде Никольсона и Кеннана? А эти — и после стольких оглушительных провалов венских конгрессов нашей эпохи — в Версале, в Мюнхене, в Ялте (и в Хельсинки), все еще твердят, что конфузы случились из-за того, что политики-диллетанты не давали свободы действий дипломатам-профессионалам [36]; сиречь — свободы посыпать пеплом несоблюдаемых договоров и фарисейских деклараций только-что догоревшее пожарище, в котором тлеют угли нового.

В НКИД я, как беспартийный, мог работать лишь в бюро, к дипломатии непосредственного отношения не имевшем. В нем, в полной изоляции не только от дипломатии, а и от коллег к ней причастных, сидело несколько дюжин молодых спецов и корпело, под руководством Сабанина и пары других царских последышей, над разработкой подсобных юридических и экономических деталей дипломатических проблем. Проблемами же занимались даже не названные коллеги из так называемых политических отделов, а еще менее доступные и вовсе таинственные кремлевские верхи. Теперь мы знаем, что при Сталине внешняя политика вершилась несколько более... демократическим образом, чем теперь в Соединенных Штатах, — не единолично советником президента, вроде Гопкинса при Рузвельте и Киссингера при Никсоне и Форде, а двумя лицами: Сталином и Молотовым [37]. НКИД же с самого начала оказывался исполнительным аппаратом, да и то по второстепенным вопросам чисто формальных отношений на межгосударственном уровне; первостепенные, относившиеся к сути политики революционного государства, стремившегося революционизировать остальной мир, шли по каналам Коминтерна и ОГПУ-НКВД.

Партийные сослуживцы продвигались по бюрократической лестнице — иногда и вниз, выходили в послы, то

[36] См. напр. «American Diplomacy 1900-1950» Джорджа Кеннан, Чикаго, 1951 г. стр. 93. Твердит он это и поныне- см., напр., его синильное credo quia absurdum в «Геральд Трибюн» от 12-го февраля 1977 г.).

[37] В буржуазной прессе утверждалось, что имелось еще третье, тайное лицо — банкир Ашберг; о других судят обычно по собственным грехам.



THE ANGELS OF PEACE FROM MOSCOW: THE MEMBERS OF THE SOVIET DELEGATION to the League Preparatory Disarmament Commission, Which Met in Geneva. (Times Wide World Photos.)



и дело ездили за границу, что, при отсутствии в московских магазинах чего-либо иного, кроме портретов вождей, являлось тайной мечтой всех и каждого, независимо от степени ненависти к капитализму. Я же и мне подобные годами топтались на том же месте и все на той же рутинной канцелярщине. Только по нужде посылали меня сперва на женевские разоружительные говорильни — пока не отучился есть рыбу ножом и научился произносить «бонжур мсье» кандидат из комсомольцев. Для незавидного моего положения символичным было то, удручавшее юношеское тщеславие обстоятельство, что кабинетом мне служила бывшая кухня, плиту которой я стыдливо прикрывал листами лондонского «Таймс»; размещалось ведомство иностранных дел тогда в мало пригодном жилом доме.

Не лучшим оказалось положение и на научной работе, на которую я перешел когда лопнуло терпение играть роль последней спицы в дипломатической колеснице, своим чередом бывшей такой же последней спицей в сталинской внешней политике. Избрал я — опять таки неосмотрительно — внешнеполитическую же область, где беспартийность продолжала вредить и мне и работе. Должность звучала помпезно: старший научный сотрудник Института мирового хозяйства и политики Академии наук Союза советских социалистических республик. Занимался же я больше подборкой материалов, нужных для того, чтобы корифеи Института, вроде небезызвестного Варга (ученого водолея, как его звали промеж коллег), мог строчить книгу за книгой, возвещавшую приятную для слуха кремлевских хозяев неминуемость скорого и полного провала капитализма — с автоматической победой мировой пролетарской революции. Даже по появлении гитлеровской угрозы Варга продолжал убаюкивать тем, что война будет предотвращена революцией на Западе [38]. Самому

---

[38] Старый революционер из Венгрии, Варга был вообще чудаковат, шел не в ногу с модой. После войны он выступил с обратной теорией, с утверждением, что капитализм оправится и даже пойдет вперед по пути экономического прогресса по крайней мере еще лет десять, — после чего и исчез с горизонта; говорить надо было об ослаблении капитализма, вступившего во второй этап общего кризиса и о новой волне революций...

мне оставалось только поддакивать полагающемуся оптимизму и в докладе о немецких сырьевых запасах, частично опубликованном в «Правде», ловкой подборкой цифр объявить, что Гитлер большой войны не выдержит и шесть месяцев. Увы, для того чтобы самому не стало хуже надо было кричать, что хуже становится «запутавшемуся хищнику империализма» — таков был хороший тон сталинского общества. И если тому мешали факты, надо было считать, что тем хуже и для фактов.

У всех нас перед глазами стояли примеры тому, что при излишнем усердии к делу примешивается, как утверждал Талейран, и глупость. Талантливые инженеры и экономисты гибли из-за того, что излишне волнуясь за порученное им дело, протестовали против планов и темпов, позволявших начальству получать наградные и ордена при рапортовании о перевыполнении обязательств, что шло за счет качества продукции. Ученых загоняли в тюрьмы и лагеря за критику проектов, созвучных с политическими лозунгами, но сомнительных практически. Старые военные специалисты исчезали после предостережений насчет опасности недооценки потенциального противника. Каждый из нас мог оплакивать жертвы казенной оптимистической нетерпимости. Друга моих родителей, опытного инженера-путейца, потеряли мы из-за того, что настаивал он на постройке автострад из глубины страны к Москве, а не от Москвы к западной границе, что могло бы быть использовано агрессором (как и случилось в 1941 году); но лозунгом тогда было, что врага будут бить на его же территории. Другого знакомого, видного специалиста по изготовлению шампанского, послали за Полярный круг, потому что возражал он против скоростного, машинного метода, приведшего к тому, что неплохое до того «Абрау-Дюрсо» выпало как источник валютных поступлений от экспорта. Классическим примером мог служить случай с известным партизаном испанской гражданской войны, Эль Кампесино. Спасшийся от фашистского возмездия, Кампесино добрался до Москвы, где его кровавые деяния получили лестную оценку. Его направили учиться читать и писать в военную академию. Будучи спрошен о том, какую армию считает он в данный

момент сильнейшей, Кампесино отрубил без всякой дипломатии: гитлеровскую! И должен был еще раз спасаться бегством.

Теперь, задним числом, вижу, что мне следовало отрешиться от интересовавшей меня дипломатии, мною не интересовавшейся, и вместо просиживания последних штанов в канцеляриях и поедания за зря хлеба с таким трудом и в таких лишениях выращиваемого колхозниками, включиться в ряды горячего комсомольского юношества, жертвенно выбивавшегося из сил на тяжкой стройке новых заводов, прокладке дорог и каналов, поднятии целинных земель. В ряды тех, кто в примитивных условиях — их не вынес бы без протеста ни один западный рабочий, — полуголодными, оборванными, в сорокоградусные морозы, под зачастую неумелым и всегда равнодушным к человеческим лишениям и страданиями руководством, по словам дореволюционного еще поэта,

Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что Господь ни пошлет!

Включиться, словом, в ряды тех, кто только и вытянул Россию из ямы отсталости и слабости, промахам и преступлениям сталинцев вопреки.

Людям, работающим головой, неотделенной от сердца, в особенности тяжко пребывать на положении отвергнутых. В описываемое время все большее число моих сверстников становилось поэтому на путь самоизоляции, уходило в раковинку личной жизни. Смотря на работу, как на тяжкое, часто неприятное и даже опасное добывание хлеба насущного, жили тогда беспартийные интеллигенты лишь в вечерние часы отдыха. Со вздохом облегчения возвращались они в бедные жилища, запирали двери, спускали шторы, и оказывались в своем, любимом мирке. В тесном кругу верных друзей велись приятные беседы — обо всем, кроме политики: повторять то, что стояло в утренней «Правде» не хотелось, говорить правду считалось некорректным, т.к. за недоносительство карали также строго, как за критику. Любимые авторы — Пушкин и Гоголь, Тургенев и Чехов, Толстой и, в особенности, запретный Достоевский, сеяли и дальше «разумное, доброе, вечное»; солженицынский образ молодого дипло-

мата-коммуниста, нашедшего на чердаке старые книги этого рода и, вкусив яд человечности, предупредившего одного ученого о подготовлявшейся КГБ провокации, списан как бы с натуры [39]. Праздником бывало, когда удавалось раздобыться билетом в «Большой» чтобы насладиться великолепием прошлого, услышать неслышимый более в действительности колокольный перезвон в «Борисе Годунове». Праздник наступал и при летнем отдыхе на солнечном пляже в Сочи и Гаграх. И, конечно, были мы молоды — и хотели быть молодыми, а потому легко забывали лозунги и планы, тесноту жилищ, очереди, даже клеймо беспартийности. Ибо бил час свидания в теплый подмосковный вечер, когда молчит радио с цифрами перевыполнения плана угольной промышленностью, но заливаются соловьи, пьянит аромат цветущей черемухи и льет на милое лицо свой вечный, тихий свет неподвижная, чарующая луна. Западным кремлинологистам, утверждающим, что мы только тряслись в ожидании ночного стука в дверь, надлежало ответить талейрановским ответом на вопрос, что он делал в дни террора «Жил!».

Надлежало бы — если бы имелось в нашей жизни то, что одно только делает отдых полноценным и личное счастье завершенным: полезный труд, сознание принадлежности к общественному бытию, радость созидательного творчества на благо родной стране. Но мы были отрешены от всего этого — вместе с народом — и в своей стране чувствовали себя чужаками. У Бердяева в «Русской идее» рассказывается, как отдалилось от реальности жизни его поколение озападненной русской интеллигенции: в уютных салонах спорило оно дни и ночи напролет, является ли русский народ «богоносцем», в чем миссия России в космосе и т.п. А пока интеллигентская элита вела уточненные диспуты, все более вдаваясь в мистицизм и оккультизм, вокруг забушевала революция и поглотила в скорости эстетов, считавших вместе с Бердяевым что они олицетворяют русский религиозно-культурный ренессанс.

Мы же — их дети — оказались изолированными чужаками не по собственной воле и вине и расплачивались

[39] «В круге первом».

теперь за то, что отцы пропустили исторический час, пропустив шанс оказывать на революцию смягчающее, культурное влияние — как и мыслил себе роль не-марксистской интеллигенции Максим Горький (пытавшийся даже наладить возвращение эмигрантских светил русской мысли, науки и культуры). Теперь дети оказались вынужденными повторять ошибку отцов. Некоторым из них судьба принесла злейшее из злейших наказаний: западное изгнание.

СОВЕТСКИЕ ЗАПАДНИКИ

Для советского государства принужденный отход беспартийной интеллигенции от активного приобщения к строительству нового типа общества принес, как уже отмечалось, ряд тяжких последствий. В особенности пагубно оказалась боязнь беспартийных интеллигентов идти в технические отрасли — кому была охота лезть в петлю после стольких судебных и вне-судебных расправ? Для строившихся тысячами новых заводов не хватало инженеров, лаборатории и научные институты снижали вклад в развитие техники, т.к. боялись экспериментировать: в те времена было легче угодить во «вредители» что-либо делая, нежели ничего не делая. Недоставало, главное, преподавательского персонала для подготовки новых кадров из рабочих и крестьян. Серьезные задержки и срывы уже при выполнении первого пятилетнего плана были платой за недоверие одних и страх других. Дошло до того, что в тот момент, когда зародилась гитлеровская угроза, Красная армия продолжала иметь на вооружении технику первой мировой войны; и в начале тридцатых годов я обучался в школе офицеров запаса на танках Рено, в свое время захваченных у интервентов.

Для беспартийной интеллигенции новое отчуждение повлекло за собою и худшее: вместо того, чтобы учесть и исправить ошибки старшего поколения, молодые специалисты советского уже образования, но старой закалки, принялись культивировать в себе бациллы наследственной русской болезни: западничество. Отвергнутые в своей

стране, они поневоле обратили взоры в сторону, давно уже манившую к себе поколение за поколением интеллигентов.

Хотя говорю я сейчас о тридцатых годах, болезнь западничества давала себя знать и позже. Болеют ею, оказывается, курам на смех, Западу на пользу, и теперь. В одном из сравнительно новых свидетельств, даваемых недавними перебежчиками или депортированными, в «Россия без прикрас и умолчания» Владимирова-Финкельштейна, сообщалось не без яда, что «самых больших ценителей западного стиля жизни надо искать не в Нью-Йорке, не в Париже и не в Лондоне, а среди московских журналистов»[40]. Это — одно из не очень многих правдоподобных утверждений явно предвзятого автора — подтверждается и иностранными корреспондентами. Стоит остановиться на этом вопросе поподробнее.

В разгар холодной войны и на Западе никак не рекомендовалось серьезное, объективное изучение русского прошлого и советского настоящего. Первое подвергалось такому же безапелляционному очернению, как и в самом СССР в первые десятилетия после Октябрьского переворота, когда Бухарин называл русский народ «нацией обломовых», а Сталин наклеивал на царскую Россию ярлык «жандарма Европы» и «палача Азии»; самое слово «Россия» и «русский» считалось синонимом контр-революционности, и в анкетах я писал, в ответ на вопрос о национальности, осторожное «уроженец Сибири». Оценка советского времени страдала на Западе еще более гипертрофическим преувеличением отрицательных сторон, чем гипертрофическое же превозношение положительных в сталинских лозунгах. Западная печать не шла даже на тот минимум объективности, который можно находить в «Правде», где после обязательного панегирического вступления, абзацы начинались со слов «однако», «к сожалению» и «недопустимо».

Излюбленной мишенью для смешков служит на Западе сталинская болезнь переписывания истории при пе-

[40] Франкфурт, 1969 г., стр. 254. «Правда» и поныне ополчается на тех, кто подвержен «вещной болезни», стремится любыми путями заполучить последний «крик моды...» См. номер от 4-го июля 1976 г.

ременах в составе вождей. О собственном бревне в глазу Запад или молчит, или говорит вполголоса; у нас еще будет случай напомнить о том, как на Западе меняли изображения советского режима на протяжении истекшего полувека[41]. В одном из обзоров западной историографии советского периода объявлены «вполне нормальными» все провалы западных прогнозов насчет близкой гибели коммунистической власти, несовершенство, мол, человеческой натуры[42]. Тема осталась недоработанной, и мы так и не знаем чем же объяснить то, что кремлинология всегда изобиловала таким скоплением несовершенных натур, что закону Грэшама в ней делать нечего.

Одним из первородных грехов западной кремлинологии служит концентрация внимания на покрытых вековой пылью догматических спорах верхушечной части русской интеллигенции царского времени, на спорах между славянофилами и западниками. Споры эти по сей день остаются излюбленной темой западных специалистов по русским делам, пытающимся найти с их помощью разгадку советской политики — по американскому выражению «найти в темной комнате черного кота, которого там нет». Сталин, к примеру, с его «социализмом в одной стране» считался «нео-славянофилом», Троцкий же, стоявший за «перманентную революцию», считавший, что победа в России непрочна без победы коммунизма в прочем мире, приравнивается к «нео-западникам»; то, что Троцкий более популярен на Западе объясняется вероятно и тем, что термин «западничество» понимается тут как нечто положительное, что бы за ним не скрывалось. Странный интерес к философско-политическому антиквариату оказывается не столь странным, если учесть, что первородный грех этого сорта потребен для обоснования другого

[41] Вот некоторые ранние перлы: «Ленин и Троцкий продали страну пруссачеству» (Нью-Йорк Геральд Трибюн, 6 марта 1918 г.); «Гос. департамент заявил, что большевизм будет скоро ликвидирован» (та же газета от 28 октября 1920 г., т.е. за две недели до ликвидации последнего оплота Белой армии в Крыму).

[42] Walter Laquer, «The Fate of Revolution», Лондон, 1967 г. стр. 191. Имеется в виду закон денежного обращения, по которому «плохие деньги», т.е. изобильно выпущенные бумажные, вытесняют золото и твердую валюту.

капитального искажения: давно отзвучавший спор в русской мысли девятнадцатого века ожил ведь в западной пропаганде для того, чтобы, изобразив тот, как проявление русского «мессианизма», провести аналогию между царизмом и коммунизмом. Раскроем наудачу первую же взятую наудачу западную книгу о русских делах, писанную в разгар холодной войны, и мы найдем один и тот же рефрен: преемственности религиозной идеи XV века Москвы, как «Третьего Рима», и коммунистической догмы мировой революции, орудием которой служил «Третий Интернационал», христианского «мессианизма» Достоевского и коммунистического «пролетарского интернационализма» Ленина, Сталина и их преемников [43]. Главным оружием русофобской пропаганды стала инсинуация насчет тождества русского и коммунистического опять таки из-за Бердяева, считавшего, что между «Третьим Римом» и «Третьим Интернационалом» имеется нечто более общее, чем одна лишь цифра три [44]. Просмотрел при этом Запад то, во-первых, что и славянофилы и западники были одинаково далеки от народа и его чаяний — и в царское время, и после революции я ни разу не слыхал в народе разговоров о мировой миссии России. Зато и те и другие были близки к Западу. «Если говорить откровенно, я и теперь люблю Запад, я связан с ним многими, неразрывными чувствами. Я принадлежу к нему моим воспитанием, моими привычками, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками» — признавался главный идеолог славянофильства Киреевский [45]. Но для Запада и русские западники казались варварами. Как язвил один из типичных претендентов на знание âme slave французский ученый Андрэ Зигфрид, «мы знавали больших московских бар, державших себя в высшем свете с непревзойденной непринужденностью, но которые, вероятно, спать ложились в сапогах» [46].

Главное же, что просмотрел Запад, это, во-вторых, то, что в России спор между славянофилами и западниками вылился под конец в спор между двумя разновидностями западников: между теми, кто стоял за рабское копирование западных либерально-демократических декораций, и теми, кто добивался смены не только декораций, а и режиссеров, пьесы и зрителей — по западному же марксистскому рецепту и, притом, и в России и на Западе.

Злостность искажения Западом всей оборонительной, по большей части, сущности нашей истории особенно видна на примере наделения русского характера чисто западными агрессивными и экспансионистскими чертами [47]. На самом деле, мы русские, страдаем как раз обратным недостатком. Века порабощения — сперва иноземного, монгольского, потом полусобственного — онемеченным феодально-сословным самодержавием, привнесли в русский характер черты робости, неуверенности в себе, даже известного ощущения неполноценности, второстепенности. И, одновременно, чрезмерного почитания, если не прямо преклонения перед всем чужим, иностранным. Это видно было уже из старого народного убеждения, что немец так умен, что и обезьяну выдумал. Главную же дань презрения к своему и почитания западного платили высшие классы — вспомним как в «Войне и мире» и в дни конфликта с Наполеоном изъяснялись они только по-французски. У Салтыкова-Щедрина, в «Признаках времени», дается красочный образчик русского дворянина: «В России он колотил по зубам ямщиков, за границей он и кондуктору стремится поцеловать плечико — потому что ведь всем известно, что у нас нет середины, либо в рыло, либо ручку пожалуйте».

---

[43] К примеру: H. Kohn, «The Mind of Modern Russia», Rutgers University Press, 1955 г., стр. 281; Fred. Barghorn, «Soviet Russian Nationalism», Нью-Йорк, 1956 г., стр.255; «Continuity and Change in Russian and Soviet Thought», Кэмбридж, 1955 г., стр. 501 и след.

[44] «Русская идея», стр. 218. Потому-то так популярен на Западе один только этот русский философ — у него западная пропаганда списала (и раздула) все ее руссофобские застращивания. Теперь им сторит и новый эмигрант Альмарик! Хлеб ему этим обеспечен.

[45] Приводится у С.П. Жаба, стр. 27-28.

[46] «L'âme des Peuples», Париж, 1950 г., стр. 151. К сему: по свидетельству одного из исследований убийства президента Кеннеди, его осчастливленный преемник, Джонсон, незамедлительно забрался в постель на президентском самолете — в штиблетах. См. «The Death of a President», Манчестера, Нью-Йорк, 1967 г.

[47] «Они ждут от нас лишь меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства» — отмечал Достоевский в «Идиоте».

Господствовала в России издавна — и не изжита и по сей день полностью, ксеномания, тогда как Западу более знаком термин ксенофобии. Способствовало этому, конечно, бедность русской народной жизни, с одной стороны, а с другой — редкость иностранных посетителей.

В западных странах, сгрудившихся на узком конце евразийского массива, с тесно переплетенным разноплеменным населением, иностранцы — обычное явление, и вызывают не любопытство, а недовольство и даже враждебность. По собственному опыту знаю, что слово «Ауслендер» у немцев носит ругательный оттенок, французы прибавляют к нему эпитет «грязный». Даже в Швейцарии, процветающей на спекуляциях с иностранными банковскими вкладами, на туристах и на эксплуатации импортированных иностранных рабочих и, к тому же, состоящей из трех не очень симпатизирующих друг другу наций, жить иностранцам не очень приятно: богатых стараются ободрать, как липку, бедных за людей не считают. В России же иностранец всегда почитался знатным гостем, пользовался особым почетом и привилегиями (уже в мое время для иностранцев существовали «закрытые распределители», где можно было достать все то, чего не имелось у русского населения, теперь открыты магазины с товарами лучшего качества и большего ассортимента — за валюту). Способствовало всему этому также и то, что до далекой России добирались лишь знатные и богатые иностранцы и, ранее, более образованные, что и открывало дорогу к высоким постам (в новой истории только в России иностранцы могли заделываться царями министрами, губернаторами и главнокомандующими армией, как Барклай де Толли во время войны с Наполеоном).

О том, как медленно изживаются старые привычки даже в условиях холодной войны и внедренной Сталином шпионо-боязни, свидетельствуют факты расшаркивания перед иностранными посетителями. Один швейцарский турист рассказывал мне, что в Москву прилетел он в проливной дождь, и тогда как иностранцам подали автобус чтобы отвезти в аэропорт, русские пассажиры должны были шлепать по лужам. Туристка-немка со смехом вспоминала, что в гостиницах имеются особые лифты для

туристов, а русские потеют с чемоданами по лестницам, в ресторанах иностранцев кормят вне очереди и т.д.

В скудные годы сталинского лихолетия русским и импонировало в особенности материальное превосходство и комфорт западной жизни. По одежде встречают, по уму провожают, и о жизни Запада судили не по «Правде» с ее ежедневным злословием о кризисах, нищете и отчаянии в буржуазных странах, а по хорошо одетым иностранцам, по проникавшим сквозь таможенные барьеры красивым вещам, по модным журналам, раздобытым на черном рынке. Сталин был попросту вынужден спустить железный занавес, чтобы изолировать от соблазнов западной жизни, т.е., по существу, от западной анти-советской пропаганды вещами, пропаганды, действовавшей более эффективно нежели «Голос Америки» с абстрактными для советского населения восхвалениями свобод и прав.

В особенности действенна западная пропаганда материальными диковинками была среди интеллигенции, сконцентрированной в больших городах. Через чужеземные блага, маячившие перед их носом, интеллигенция подвергалась идеологической обработке в смысле преклонения перед Западом, в сердцах обозванного Сталином «пресмыкательством».

А.И. Солженицын ошибался, когда думал, что уцелевшая старая интеллигенция и молодое ее поколение пошли работать с ленинско-сталинской властью «вполне искренне, загипнотизированно, охотно дав себя загипнотизировать», и что процесс облегчался «захваченностью подрастающей интеллигентской молодежи — огнекрылыми казались ей истины торжествующего марксизма...»[48]. Как я уже напоминал, капитуляция и коллаборантство, обмененные на полдюжины ржавых селедок, отнюдь не гипнотизировали. Питерская и московская беспартийная молодежь, мною виденная, «огнекрылыми» считали не «истины марксизма» — каждый мог видеть, что за цена была этим истинам на практике, но соблазны Запада. Не те, однако, коими влекомы были отцы и деды, высмеянные за «европеиничанье» еще Фонвизином («Мое тело в России,

[48] «Из под глыб», стр. 225.

но душа принадлежит короне французской»), а Достоевским упрекавшиеся за перетаскивание в Россию «святых камней» из Европы, уже превратившейся в «дорогое кладбище». Новое поколение старой интеллигенции обучалось в советской школе, где с парламентами и демократиями не нежничали. Дебатами в Палате лордов или выборами в швейцарских кантонах интересовались и я и мои сверстники еще меньше, чем рядовые англичане и швейцарцы. Не прошел бесследно и бесславный конец попытки пойти при Керенском по пути демократии западного образца. Карамазовым, попавшим на положение беспартийных представлялись святыми не камни Европы, а ее конфекционные изделия.

При отсутствии тогда всего, начиная с вилок и кончая детскими сосками, советские Карамазовы были вынуждены превращаться в Писаревых: этот ранний идеолог русского материализма считал, что сапоги важнее Шекспира (и не был неправ — в его время у народа имелись больше самодельные лапти). Более позднее и элегантное марксистское определение, что человек, прежде чем философствовать, должен иметь чтó есть и где жить, оказалось, на проверку, неточным лишь для богатых западных стран, где люди чем более сыты и пьяны, тем меньше философствуют. И в примитивных условиях, в коих мы тогда жили, до уровня западного мещанства последние могикане старой интеллигенции все же не спускались. Но сапоги (желательнее модные западные штиблеты и туфельки) оказывались для нас все же важнее Веймарской конституции и Келлоговского пакта о запрещении войны. У лишенных многого, что радует нормальную молодежь — красивого платья, чтобы нравиться, коробки конфет или букета для подарка любимой, уютного кафе для первого свидания, у молодых беспартийных интеллигентов интерес зажигался не к принципу свободной торговли, а к ее практике. В период экономических кризисов перепроизводства наблюдается, как известно, бегство от вещей. У нас же свирепствовал кризис недопроизводства предметов широкого потребления и комфорта, вернее кризис непроизводства таковых, и поэтому происходило бегство за вещами. Рабочие и служилая мелкота охотились за вилками и примусами. Хорошо оплачиваемые спецы — за импортными диковинками, за чулками и туфельками, за бюстгалтерами и галстуками — за контрабандными, т.к. легального импорта вещей, ненужных для смыкания сельского хозяйства с индустрией, не допускалось: валюта шла на покупку машин и на поддержку иностранных компартий. В Москве моего дефицитного, а потому строгого времени (закон этот наблюдал я потом и при послевоенной разрухе на Западе), процветал, тем не менее, черный рынок, спасавший и в дни голода — отец говаривал, что в будущем первый памятник надобно поставить спекулянту, восполнявшему зияющие пробелы в государственном снабжении [49]. Процветал черный рынок потому, что в Москве имелись иностранцы (делаю заявку на фиксацию и этого экономического закона). С черным же рын-

[49] Процветает черный рынок и по сегодня. По свидетельству иностранных корреспондентов, «Иностранец должен ожидать, что на ступенях Эрмитажа к нему обратится нелегальный валютный меняла ... посетитель может получить эквивалент 70 долларов за старые потрепанные blue jeans» («Геральд Трибюн», 10 сентября 1975). Нашлись в конце концов, и более вдумчивые западные журналисты, распознавшие, что в СССР и через 60 лет общества, именуемого гордо «развернутой социалистической экономикой», существует «контр-экономика», — «естественная самозащита населения» от недостатков и провалов тотального планирования, неспособного обеспечить снабжение хотя бы на уровне самых бедных европейских стран, как Италия и Испания (см. «Геральд Трибюн», 7-го января 1976 г.). А другой американский наблюдатель (на этот раз без иронических кавычек), Хедрик Смит, подробно и, судя по всему, достоверно, показал в книге «The Russians», какую большую роль играет в улучшении повседневной жизни в СССР частнохозяйственный сектор, процветающий в тени хромающего на одну ногу государственного социализма (или капитализма — что вернее, как мы это покажем в последней главе): продажа дефицитных и доброкачественных товаров и в казенной торговой сети «налево», за взятки и по знакомству; черный рынок, на котором можно найти все, от импортных диковинок до строительного материала; даже наличие частных мастерских и целых заводиков — в основном все это функционирует на краденом у государства. Из этого и подобных свидетельств можно видеть, что, как и в мое время, население снабжается на какой то значительный процент из частного сектора «социалистической экономики», в том числе легального (колхозные приусадебные участки), и полулегального (колхозные рынки). Особо отмечал Смит, что «все хотят импортные товары. Это дает чувство превосходства над другими». Рецензент из «Нью-Йорк Таймса» (19-го января 1976 г.) признал, что Смит «дал нам картину действительности, заменяющую фантазии».

ком власти боролись самым суровым образом — хотя отечественное производство с западной контрабандой никак не конкурировало — производства предлагавшихся на черном рынке благ у нас не имелось (это мой третий экономический закон: чем ниже собственная продукция, тем выше бюрократическое рвение по части еще большего ухудшения снабжения населения). Все у нас было тогда в высшей степени серьезно, и против опасных чулок и бюстгальтеров в ход пускали страшную своей гуттаперчивостью 58-ую статью уголовного кодекса — была бы статья, а виновные найдутся, смеялись сквозь слезы москвичи.

Не один московский или ленинградский Ромео загремел в Сибирь, увы, отдельно от его Джульетты: сталинские бюрократы-изуверы считали преступлением не только мирное сосуществование с мировой буржуазией на черном рынке, а и потребление его благ; а накрашенные губки, при отсутствии собственной продукции губной помады, служили уликой подрыва монополии внешней торговли. От не очень смешного до полностью трагичного полшага, и кары обрушивались и на тех, кто старался раздобыться импортным медикаментом. Судьи, судившие по так наз. революционному правосознанию в интерпретации того зловещим Вышинским, гнали за Полярный круг и диабетика, потреблявшего заграничный инсулин: не поддерживал ли диабетик этим анти-советскую клевету об изобилии на Западе того, чего нет в СССР?

Политические же репрессии придавали излишний политический характер бюстгальтерам и медикаментам. Запретный плод всегда сладок и гонения только разжигали до ненормальных размеров нормальное желание обзавестись красивым и просто нужным западным конфекционом. А отсюда зарождалось восхищение Западом.

Разумеется тянул к себе Запад не одним только изобилием жизненных благ. Русских всегда влекли чужие края. Нас тянуло снять шляпу перед величием того, чем были Афины и Рим; постоять в тени Акрополя и Форума; повздыхать под звуки «Санта Лючия»; своими глазами посмотреть на Рафаэля и Рембрандта; услышать гамлетовский монолог в «Дрюри Лэн» — мир так прекрасен

чтобы замечать в нем только национальные распри и классовую ненависть! Статистика показывала, что перед первой мировой войной русские туристы занимали первое место среди иностранцев в Берлине и только второе, после англичан, в Париже и Ницце. Теперь про все это можно было знать лишь из вздохов отцов и дедов, спрашивая про себя, почему царское правительство не боялось, как советское, пускать за границу всякого, кто хотел? К чувству зависти присоединялось и чувство клострофобии. Это вело к личным трагедиям и к урону престижа советского государства — иной из советских командированных, попав за границу, очумевал и «избирал свободу», воспользоваться которой не мог, как мы увидим это из конечных глав этих мемуаров.

С грустной усмешкой над самим собою — молодость, молодость! вспоминаю я теперь, как подливали масла в огонь собственного помешательства на всем западном поездки по дипломатическим командировкам. Как сейчас вижу себя лежащим по возвращении из Берлина или Женевы в моей убогой московской комнатенке — в мечтах все еще «там». В бессонных глазах все еще переливались и сверкали яркие рекламы, маячили витрины магазинов со сказочными явствами и питиями, с волшебным конфекционом. В ушах звучали вкрадчивые голоса Таубера и Шевалье, звавшие к радостям жизни, к весне, к встрече с «ней». Чудились голубые дали, где «красы невиданных цветов, следы неслыханных зверей». Одетый во все «заграничное» — так подобострастно-завистливо величались импортные чудеса у московских мечтателей о прекрасном недоступном, выглядел я ходячей рекламой Западу. Наперебой зазывали меня в советские суррогаты прежних великосветских салонов — перегороженную шкафами комнату, служащую одновременно и столовой, и спальней, и детской. И с затаенным дыханьем слушали повествования современного Марко Поло о блеске берлинского Курфюрстендами, о новых модах и последних чарльстонах. Одна, в особенности пылкая поклонница свободной косметики и демократического конфекциона, расфуфыренная в вечерний туалет ловко переделанный из ночного, но заграничного пеньюара, обычно вешалась мне на шею

с воплем, что хочет дотронуться до того, что «оттуда». Эту отнюдь не неприятную форму преклонения перед Западом я не раз вспоминал, видя как с еще более истерическими воплями пытались американские герльс и даже матроны дотронуться до кандидата в президенты. Каждый сходит с ума на свой лад. Московская красотка сходила с ума более нормально.

И, конечно, сходить с ума по западным чудесам помогало ухудшение бытового и морального положения остатков старой интеллигенции — подчеркнем еще раз этот основной, вероятно, фактор. О восстановлении капитализма никто из нас не думал — этот жупел выдумали сталинцы, действуя по поговорке, что когда хотят убить собаку, ее объявляют бешеной. Но о том, что́ интеллигенция имела при капитализме вздыхали мы сильно, с надрывом: комфортабельные квартиры, обеспеченный кусок хлеба с маслом; активная общественная деятельность; книги и газеты из за границы; поездки на курорты в Германию и в веселый Париж; общение с иностранными коллегами — если и на ролях пасынков Запада. И — напомню вновь и вновь, особенно угнетало падение в статуте. Не раз слыхал я сетования на то, что человек, ранее величавшийся «барин», теперь оказался не «товарищем», а «гражданином»; а это обращение имело сугубо оффициальный характер, обычно связанный с неприятностями вроде суда или чего еще похуже, — при одновременном требовании проявлять энтузиазм и благодарность.

Так укреплялось в чувствах тех, кому не давали места в советской иерархии, старое, обще-человеческое убеждение: у соседей трава более зеленая. А это имело свою отнюдь не комичную сторону.

Поклонники западных конфекционных чудес снабжались, как упоминалось, спекулянтами из иностранных представительств. А там скоро поняли, что у советских клиентов платежные средства куда ограниченнее аппетитов: доллар царил тогда и на московском черном рынке — а откуда было его взять? Некоторые дипломаты-спекулянты и воспользовались недостаточной ликвидностью, как выразились бы специалисты денежного хозяйства: дипломаты-шпионы стали требовать за «цивилизованную дрянь»[50] информацию известного характера. Когда же случаи такого сорта начали выплывать наружу, власти удвоили строгости и репрессии. Советские граждане оказались вынужденными еще больше сторониться иностранцев. Выходило, что НКВД фактически спасало наивных поклонников Запад от наихудшего. Но на Западе вынужденную Западом же само-изоляцию от того, что теперь зовется свободным обменом идеями и людьми, истолковали как проявление... русской ксенофобии.

ПРОФЕССОРА, ПРОВАЛИВШИЕСЯ НА ЭКЗАМЕНЕ.

Никто не может знать сколько русских интеллигентов пало жертвами западничества; архивы сталинского времени откроются позже, когда история станет историей, а не «политикой опрокинутой в прошлое», по определению первого марксистского историка Покровского, — а, вернее, «прошлым, притянутым в политику»[51]. Но мы должны спросить уже теперь: в чем же первопричина тройного фиаско русской интеллигенции — до революции, во время нее и после революции?

Ведь нельзя сказать, что старые русские интеллигенты были сплошь эгоистичными и чуждыми народу по сознательной своей воле или умонастроению. В чем-чем, а в классовом презрении и высокомерии русскую интеллигенцию старого типа упрекнуть, как можно упрекнуть западных образованных людей, никак нельзя. Образование в России сопутствовало не кастовой замкнутости и заносчивости, но отзывчивости, доброте, приверженности началам справедливости, даже смиренности и непротивлению злу, вытекавшим и из русской натуры и православной веры. Говорю я о действительно образованных интеллигентах, не о полуобразованных, из которых, повторяю, состояли революционные кадры, подтверждавшие предупреждение

[50] Так обозвал западную массовую продукцию дореволюционный русский философ Эрн.

[51] Сам проф. Покровский умер вовремя, но его школа подверглась при Сталине жестокому, кровавому погрому.

Достоевского, что полу-образование страшный бич. Правы те, кто вместе с Бердяевым (а моя критика многих из его взглядов не предназначена для того, чтобы начисто отбросить иные из полезных сторон его объяснений истоков русского коммунизма — точнее коммунизма в России), кто, стало быть, вместе с ним считают русскую интеллигенцию в царской России явлением совершенно своеобразным, Западу, к сожалению, чуждым и непонятным. Россия и весь мир стали поистине беднее с разгромом этой интеллигенции — каковы бы ни были личные слабости и политические промахи ее представителей. Что же тогда попутало старую интеллигенцию? Ответ предопределен самым источником происхождения ее: западным образованием, точнее, некритическим перенятием западного образования.

Позволю себе проиллюстрировать это на собственной судьбе: ведь я имею основания относить себя к последнему поколению старой русской интеллигенции, начавшему жить еще в до-революционной патриархальной благодати, но выросшему и сформировавшемуся при ломке всего и всех, а теперь сходящему в могилу либо в СССР — со ртом, закрытым для всего кроме вынужденного восхваления тех, кто этот рот закрыл, либо в эмиграции, где рот открыт для выражения протеста, но никто протеста и совета слушать не желает.

Родился я в начале столетия, в семье известного ученого, при царе профессора, после революции академика и одного из главных организаторов финансового планирования, М.И. Боголепова. Раннее детство провел я в сибирском университетском городе Томске, где видел много студентов, но не каторжан, как это ни странно слышать западному читателю, начитавшемуся Достоевского и американского пионера пропагандирования сибирских ужасов, Кеннана старшего. Учиться стал по переезде родителей в С. Петербург (и продолжаю по сей день — по русской пословице «век живи — век учись, дураком помрешь», что подтверждается опубликованием этого повествования, неудовлетворяющего ни Запад, ни Восток). Высшее образование получил уже в советское время, но, увы, по старой еще программе; это-то и оказалось бочкой дегтя

в ложке меда. Самое же главное, вырос я в атмосфере настолько нечеловечески человечной, что теперь просто самому не верится: было ли это, не во сне ли приснилось? В просторной профессорской квартире было всегда полно учеными, литераторами, художниками: я видал Бунина и Блока, Репина и Шаляпина, Павлова, а под конец Горького. Под добродушным, часто ироническим председательством хозяина дома, велись за обязательным русским самоваром обязательные русские споры. О судьбах России и Европы. О войне и революции. О том, как попросту пережить свалившиеся на этот милый, задушевный, культурный, но такой непрактичный мирок, голод, холод и террор. По перенятой у англичан манере, мне разрешалось быть на глазах у взрослых, но оставаться неслышным и незаметным. Этому правилу я повиновался охотно. Застенчивость и сдержанность до сих пор не устранили той характеристики, которую я подслушал раз при разговоре родителей с друзьями: он, может быть, и не хватает звезд с неба, этот наш сынишка, зато, слава Богу, он не нахал и не плут. Бедные родители и бедный я сам, твержу я теперь, погибая из за этого на Западе.

Так пристрастился я чуть ли не с десятилетнего возраста к волнующим проблемам современности, приобрел вкус, как уже упомянуто, к политике в ее самой обманно-мишурной форме, к дипломатии, углублялся в чтение книг из богатой отцовской библиотеки. И так как школьное образование оказалось подстать домашней среде, путь к жизненной катастрофе предопределился с самого же начала.

На старости лет свойственно вспоминать учителей своих с теплым чувством благодарного уважения — по примеру Пушкина, почтившего лицейского наставника своего волнующими, известными каждому питомцу русской школы стансами:

Куницыну — дань чести и вина!
Он создал нас, он воспитал в нас пламень.
Заложен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

Были и мои школьные и университетские воспитатели чудесными, заботливыми, преисполненными лучших на-

мерений при передаче того, что сами познали, склоняясь над римским правом, Шекспиром и Кантом. Перед моим умственным взором выплывает образ почтенного, сановного вида, юриста Пергамента. Как сейчас вижу его этаким библейским пророком, высоко, над головой, держащим на манер Скрижалей Моисеевых, увесистый том Дейчесгезцбух, свода законов Второго Райха, с которым прекрасно сосуществовал и Райх Третий и Последний: наивысшее слово юридической премудрости, недосягаемый светоч западной справедливости и государственной мудрости! Старик был так патетичен, так свято верил в реальность и непререкаемость путанной и лицеприятной буквы немецкого закона, что мимо него прошла незамеченной, осталась как бы non esse, первая попытка распространения немецкого закона по всей Европе в первую же мировую войну — нападение на Сербию, Бельгию, вторжение в Россию, Францию, Румынию; суровое обращение с населением оккупированных областей и жестокое с русскими пленными; вооруженное вмешательство в гражданскую войну в России с захватом Польши, Прибалтики и Украины; Брест-Литовский черновик Версальского диктата; наконец, расправы без всякого Гезецбуха с немецкими рабочими, возмущенными войной и голодовкой, и убийство прямо на улице Либкнехта и Люксембург — такого профессор не видывал на наших улицах и в самый разгар революционной бури. Провидение сжалилось над доверчивым ученым и ранней смертью избавило от шока увидеть, как под сенью того же Гезецбуха принялись затем травить в газовых камерах и людей его собственной национальности.

Другая знаменитость петербургской Альма Матер, профессор государственного права Магазинер, вложил в мою бедную голову идею всеспасительности западного парламентаризма и прочей буржуазно-демократической пиротехники. Об Американском конгрессе профессор ничего не говорил — кто интересовался в те времена Америкой, только-только завершавшей дорезывание индейцев, линчевание негров и сооружение руками миллионов бесправных иммигрантов базы для ознакомления прочего мира с последним достижением капиталистической

свободы и демократии? Зато британский парламентаризм вызывал у профессора такой же трепет благоговения, как и Гезецбух у Пергамента. Вокруг догорали сполохи гражданской войны, положившей конец копированию русской интеллигенцией западных декораций, рушились все прежние устои жизни. Страну новая власть принялась тащить к «прыжку из царства необходимости в царство свободы» — оказавшееся и полвека спустя туманным и обманным. Открывалась совершенно новая страница с истории не только России, а и Запада. Мой же ментор, впадая в лирику, декламировал о «матери парламентов»:

«Здесь натиск пламенный,
А там отпор суровый, —
Пружины смелые
Гражданственности новой!»

Так воспевал Пушкин гармонию, возникавшую из конфликта между Палатой Общин и Палатой Лордов. Для поэта, да еще сто лет тому назад, было это извинительным. Но как удивился бы герольд западного парламентаризма, мой профессор государственного права, узнай он теперь, что превращение мужчины в женщину, почитавшееся в те дни единственно невозможным для британского парламента, оказалось при достижениях современной медицины более доступным нежели выполнение тем основной своей функции: ничего не делать — и делать это удивительно хорошо!

Про судьбу Магазинера я не знаю, но другой ученый бард западного конституционного права, профессор Лазаревский, кончил совсем страшно. У посланца британского парламентаризма, агента Сикрет сервис Локкарта, — того, кто втягивал политически наивных русских интеллигентов в детские заговоры, нашли при аресте фамилию и адрес барда — с отметкой, что бард может быть использован в освобожденной от большевиков будущей англо-саксонской колонии для заполнения того пробела, который существует в самой Англии, т.е. составления писаной конституции. Я лично считаю, что Лазаревского это спасло от худшего: от западной эмиграции. Что стал бы он тут делать? Не конкурировать же с местными бардами типа Ласки и уверять в сталинское время, что «по

существу, я не вижу большой разницы между общими принципами судебного процесса в России и в нашей стране», рекомендовать Вышинского, как «идеального министра юстиции» [52].

Подстать были и поучения философского корифея, профессора Франка. От него я научился при словах «свобода», «ничем не стесненная творческая деятельность», «достоинство и права человеческой личности» и пр. становиться на задние лапки и истекать слюною, как заправская опытная собачка Павлова. Я и поныне реагирую на те же слова чисто рефлективно: западные профессора типа упомянутого Локкарта чисто практическим способом вселили в меня реакцию как раз обратного порядка, — но об этом в своем месте. Советская власть спасла меня от окончательной автоматичности тем, что вскоре выслала на Запад философского корифея, утверждавшего, что солнце восходит на Западе. Как и полагается в случае эмигрантов из России, собственное его солнце зашло где полагается, на Западе, — не успев и взойти из-за отсутствия аудитории.

Для комплекта упомяну и маститого апологета западной экономической системы, профессора Кулишера. Он посвящал нас в чудеса игры спроса и предложения на свободном рынке. От внушенной им уверенности в возможности беспрепятственного следования собственному эгоистическому интересу пережил я — и продолжаю переживать — крупные финансовые неприятности. «Невидимая рука», как оказалось, регулировала не всеобщее Благо, а благо только тех, кто сам водил своими невидимыми, но алчными руками сию «невидимую руку». Кроме того, проф. Кулишер не предварил меня, что даже новый Адам Смит, лорд Кейнс, оставил неразрешенной проблему сочетания полной занятости со стабильностью цен. Для меня, никогда на Западе полностью не занятого иным чем безуспешными поисками полной занятости, отсутствие стабильности заработка и цен делало достижение магического эквилибриума в особенности трудной эквилибристикой.

[52] Harald Lasky, «Law and Justice in Soviet Russia», Лондон, 1935 г. Обратите внимание на дату!

Только один старый профессор мог бы дать мне более уравновешенное представление о западных краях (не) святых чудес. Сам подавленный трагедиями и нелепостями при перестройке жизни в утопию, он никогда не болел западничеством, считал, что корни большевизма и его главная опора на западе, среде левой интеллигенции, которой предсказывал роль керенщины. И то и дело повторял при домашних спорах вокруг пустого стола и холодного самовара знаменитое поучение Гоголя: «Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться, да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней делается. В вас все это производит только черствую досаду, да уныние. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда само собою та близорукая мысль, которая зародилась у многих честных и даже умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России, и как-будто они уже ей не нужны совсем. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей: не в губернаторы, не в капитан-исправники пойдете, последнее место, какое сыщется в ней возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственности и праздной жизни...». И как бы предчувствуя сердцем беду, которая сотрясется с его сыном, он отвечал на мои западнические диатрибы, зазубренные в университете, мудростью, вынесенной из народной толщи, из которой вышел: держись за родные грядки! Но отец почти что не бывал дома — то днем и ночью работал в Москве, проводя в жизнь опыт планирования народного хозяйства, то ездил за границу отстаивать остатки русского золотого запаса от иностранных претендентов на уплату царских долгов, хотя сами претенденты собственных военных долгов не платили. И редко ведь кто слушает вовремя отца своего [53].

[53] Зато другие оценили отца лучше: в посмертном сборнике, изданном в Москве в 1947 году, его помянули как «талантливого ученого-финансиста, блестящего публициста и замечательного человека»; знаменательно тем более, что в те времена посвящать книги полагалось только Сталину.

Так бедные мои Куницыны вложили в меня то, что Ларошфуко, развертывая платоновский тезис о незнании, называл самой пагубной его формой — неверное знание. Умалчивая о том, что и на западном солнце имеются пятна, они заставляли нас видеть в советской жизни одни только пятна. В жизнь будущего они выпускали нас людьми прошлого, обрекали на печальное блуждание среди нечаевско-троцкистских деревьев, ставших особенно густыми и неприятными в сталинское время и заслонивших от нас вздымавшийся медленно, но неуклонно, вековечный русский лес. Воспитанный ими пламень восхищения Западом оказался болотным огоньком, заведшим меня и многих из моих сверстников в трясину несчастий, ужаса и позора. А краеугольным камнем придавили они таких, как я, в эмигрантской могиле заживо-погребенных. Одного из одноклассников увидал я в эмиграции наркоманом, живущим на счет богатой старухи и обслуживающим не одну, а вероятно несколько западных шпионских служб. Другой свое материальное благополучие — профессорство в западно-германском университете, полученное благодаря немецкому происхождению, довел до обесчеловеченного мещанства: побоялся даже переписываться с другом детства, как только узнал о моих не ортодоксальных для эмигранта антизападных настроениях. Третий, сын известного художника и сам неплохой художник, жил подачками сердобольных, лишь не намного менее несчастливых изгнанников.

Назвал я эту главу по аналогии со знаменитой сатирой Грибоедова, «Горе от ума», герой которой, копировавший байроновского Чайльд Гарольда, оказался не ко двору ни на родине, ни на чужбине.



Отец
1879–1945

3. Я ИЗБРАН СВОБОДОЙ

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

Окно позади меня захлопнулось с такой силой, что кругом все зазвенело. Я обернулся. У окна стояла стройная, как пальма, молодая женщина с поразительной красоты и одухотворенным внутренним светом лицом, с тяжелыми каскадами золотых волос, ниспадавшими на плечи, как у средневекового пажа. Ее сероголубые глаза, очерченные дугой темных бровей, испускали фиолетовые молнии. Окно захлопнулось, и не стало более слышным пение маршировавших по улице солдат:

«Мы рождены, чтоб
Сказку сделать былью...»

«Вам не нравится песня? — спросил я.

— Я мало понимаю по-русски.

— А я по-эстонски. Может сговоримся на немецком?

— Да.

— Вы поняли что они поют?

— Я знаю русское слово сказка. И поняла, что они поют сказки. А мне, нам, не до сказок!

— Почему?

— А потому, что меня только-что выбросили из квартиры ваши солдаты. Потому, что и они и вы сами пришли к нам без приглашения. Потому, что вы отняли у нас нашу счастливую жизнь, нашу маленькую Эстонию. Потому...

— и не закончив резко направилась к двери. Теперь на ее глазах блеснула наворачивавшаяся слеза.

— Погодите хлопать дверью. Как вас зовут?

— Вам это нужно, чтобы арестовать меня?

Пожалуйста: Мадрит-Иоганна Ниман.»

И она хлопнула дверью, не дослушав смущенного совета с другими так не говорить.

Мое первое после вступления в партию ответственное поручение привело меня в Эстонию в момент ломки всех привычных устроев и перехода к новым, необычным, а потому непонятным и вдвойне неприятным и тяжелым условиям жизни и правилам общения. В России перелом свершался тяжко и долго. В Прибалтике же не было штурма Зимнего дворца, символизировавшего конец старой России. Не было многолетней гражданской войны, голода и холода, и перемен, навязывавшихся десятилетиями. То, что свалилось на Прибалтику разом, как лавина, среди полного мира и благополучия, можно назвать холодной революцией. Ломка оказалась тем более ощутимой, что человеческая психология была абсолютно неподготовлена к внезапному переходу от спокойной, счастливой жизни прямо в сталинизм.

Верно, что сталинское руководство имело свои основания торопиться, но торопилось оно слишком торопливо и топорно; и в Прибалтике «сей повар» готовил только «острые блюда».

Прибалтику, выторгованную у Гитлера в обмен на нейтралитет в войне — в гражданской войне, между западными диктатурами и западными олигархиями, преобразовать хотели галопом; из немецкого трамплина для прыжка на Ленинград, в передовую линию обороны. Эстония ведь издавна служила базой для традиционного немецкого «Дранг нах Остен». В средние века Ватиканская курия лелеяла грандиозные планы латинизации, вслед за Литвой и Польшей, и всего северо-запада нынешней России, и пользовалась для этого немецким Орденом меченосцев, превратившим Прибалтику в свой агрессивный плацдарм. «Они резали (местное население) как скот, убивали и насиловали... с до тех пор невиданными жестокостями и зверствами, которые на сегоднешнем языке можно назвать геноцидом» — так вспоминали про немецкое владычество прибалтийские историки-эмигранты на цюрихском съезде балтийской культуры [1]. А после того, как немецкое (а затем шведское) владычество сменилось формально русским, земля, богатства страны, власть остались в руках потомков меченосцев, немецко-балтийской знати. Русские поставили

немцев даже в особо привилегированное положение не только в Прибалтике, а и в самой России. При бедности собственных культурных сил, русские пускали немцев в министры, генералы, иные становились даже диктаторами (как печальной памяти герцог Бирон). С них то и пошло в России немецкое засилье; в последнем царском правительстве премьером был фон Штюрмер, министром Двора барон Фредерикс и т.д. Все это учитывалось в Германии. Современные немецкие историки признают, что в Вильгельмовских еще планах завоевания Прибалтики особое внимание уделялось прибалтийским немцам, с которыми «можно будет проводить нужную политику» [2].

И действительно, в годину русской революционной смуты первое что немцы захватили была Прибалтика. Ясное дело, что при Гитлере тем более носились с такими же планами. Я имел возможность ознакомиться с секретным архивом эстонского министерства иностранных дел (министр Зельтер предпочел сбежать не с документами, а с валютным запасом) и получить убедительное впечатление, что в «Майн Кампф» не словами был постулат возобновления прерванного в веймарское время «Дранг нах Остен». Из документов видна была паника, которая охватила правящие эстонские круги при подписании пакта Риббентроп-Молотов; гитлеровцы успокаивали что сдача Прибалтики русским носит «кратковременный характер» и советом уступать во всем Сталину дабы выиграть время. История показывала, что на Прибалтику имели виды и более дальние охотники, включая Америку. Вслед за кратковременной вильгельмовской оккупацией в 1918-19 году в Прибалтику прибыли новые западные покровители (своих интересов). С помощью английского флота и добровольческих формирований из остатков немецких войск и местных баронов была отбита попытка установления советской власти и восстановлена власть местной буржуазии. Большую роль при этом сыграла американская помощь голодающему населению. Вот что поведал сам руко-

[1] «Нейе Цюрхер Цейтунг», 20 июня 1965 г.

[2] Fritz Fischer «Greif nach der Weltmacht. Die Kriegszielen des kaiserlichen Deutschland, 1914-18», Düsseldorf, 1967, стр. 124.